

# Вещь

1(15)/2017

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

## Проза

Екатерина Садур

Нина Горланова

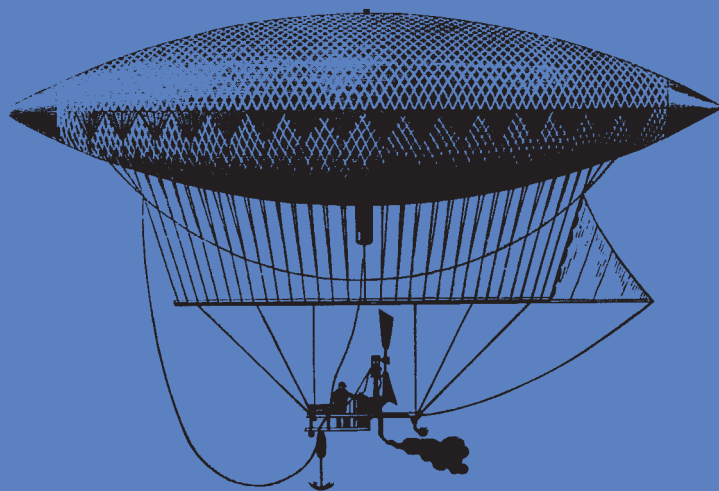
## Поэзия

Владимир Кочнев

Александр Верников

## Критика

Каменский-пушкинист

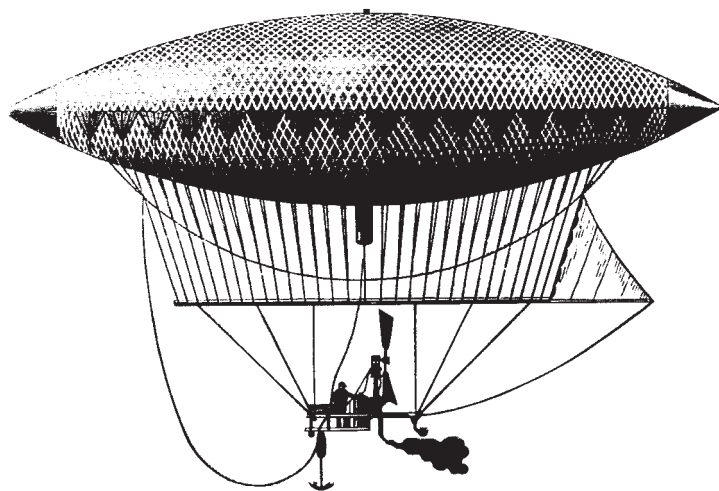




# Вещь

1(15)/2017

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ



## Содержание

- 3 ..... **Владимир Кочнев** *В автобусе все занимались сексом (стихи)*
- 9 ..... **Екатерина Садур** *Детство Гамлета (рассказ)*
- 19 ..... **Александр Верников** *Безумный психонавт (стихи)*
- 23 ..... **Алексей Лукьянов** *Слабак (киносценарий)*
- 29 ..... **Александр Самойлов** *Химия (стихи)*
- 34 ..... **Кирилл Азерный** *Светлое кладбище (повесть)*
- 67 ..... **Константин Комаров** *Неровный свет (стихи)*
- 71 ..... **Нина Горланова** *Роман с искусством (между fiction и non-fiction)*
- 101 ..... **Владимир Бекমেетев** *Крутился Мокша (четыре размышления о книге Сандро Мокши «Папка волшебств»)*
- 106 ..... **Евгений Лобков** *Футурист как пушкинист (О романе Василия Каменского «Пушкин и Дантес»)*
- 112 ..... **Григорий Тарасов, Ольга Роленгоф, Сергей Сигерсон, Нина Александрова, Елена Баянгулова** *Рецензии на книги Антона Касимова, Дмитрия Мелких, Владислава Дрожащих, Василия Каменского, Андрея Санникова и Артема Быкова*
- 123 ..... **Авторы номера**

**Владимир Кочнев**

## *В автобусе все занимались сексом*



\*\*\*

посмотри как трогательны двое глухонемых  
красноречиво беседующих на своем  
секретном  
наречии в центре летнего парка  
они не слышат шуршания листвы  
шума  
ветра  
скрипа качелей  
им недоступны шорох гальки  
резкие крики  
или доверчивый шепот  
но взгляни как трепетны их движения  
пальцев как эмоционально и нежно  
они говорят  
иногда нелепо касаясь  
друг друга ладонями

словно два тюленя  
или две ласточки  
облитые нежностью взаимного  
понимания  
боли  
и отчуждения  
может быть весь сверкающий мир  
им и вовсе не нужен  
и им хорошо просто видеть  
друг друга  
находя глубину в общем  
взаимном молчании  
общем секрете  
слышать лучше  
слышащих  
говорить ясней  
говорящих

\*\*\*

чтобы забыть о смерти  
иногда достаточно белой бабочки  
вспорхнувшей на край старой шляпы

\*\*\*

сесть в пустой трамвай  
купить простой билет  
и ехать  
ехать  
ехать  
в страну своего  
одиночества

\*\*\*

Я позвонил тебе  
и сказал  
что в автобусе  
все заняты сексом  
и только я один  
как дурак  
еду одетый  
с сумкой  
в одной руке  
и телефоном в другой  
сначала ты не поверил  
ведь так не бывает  
чтобы в простом  
городском автобусе  
вдруг все  
занялись сексом  
но потом ты поверил  
ведь ты знал  
что в этом мире  
возможно все  
а я только так  
мог выразить  
охватившее меня отчаяние  
и одиночество  
мы перекинулись парой слов  
и потом разъединились  
и наверное первое что ты сделал

это подошел к своей подруге  
и притянул ее к себе  
поближе  
поцеловав  
а я снова остался один  
в этом безумном автобусе  
среди полуголых людей  
занятых сексом  
единственный одетый там  
с трубкой в одной руке  
и сумкой в другой

\*\*\*

собрать осколки разбитого зеркала  
увидеть в них  
осколки себя

\*\*\*

сегодня я взял в руки  
иголку и пришил  
пуговицу на джинсах  
впервые за долгие годы  
самостоятельно  
это произошло спустя  
две недели после того  
как ты уехала  
и спустя два года после того  
как она отвалилась  
я не виню тебя  
брак сложная вещь  
и не всегда можно найти время  
для починки одежды  
как жаль что ты увезла  
с собой  
нашу швейную машинку  
возможно с ее помощью  
я мог бы починить  
еще кое-что

\*\*\*

смерть нашей любви  
как смерть синички  
замерзшей под окнами  
не дотянувшей  
до тепла

я говорю  
сфотографируй  
красиво  
ты отвечаешь  
зачем тебе эта падаль

\*\*\*

когда приходит эпоха упадка  
здания ветшают улицы пустеют  
смерть скитается в закоулках парка  
и люди заметно стареют

когда приходит эпоха упадка  
это видно даже по шинам  
и парка на скамейке  
молча прядет свою пряжу  
пряча под широкополой шляпой седины  
и пустая бутылка по пляжу  
катится замирая  
а ты несешь на плечах сына  
а он ничего не зная  
бодро колотит в спину  
вот она какая эпоха упадка

все умирает и все рождается снова  
застывают автострады и балюстрады  
и нищета все ближе но это уже знакомо  
и не так страшно исчезновение чаек в сини  
пустота улиц  
дни как прозрачные кинофильмы

о, я родился в эпоху упадка  
когда пустеют полки магазинов  
и империя распадается жарко  
чтобы оставить руины

о, я родился в эпоху упадка  
и раз в десятилетие здесь встают заводы

падают стены  
меняют знамена  
ветшают на окнах шторы  
и потому не так уж и жалко  
когда сливаются с небом верхушки пиний  
чтобы исчезнуть и раствориться навечно  
как  
свое отлежавший иней

смотри сынок  
вот эпоха упадка  
и мы истлеваем как мусорные пакеты  
на пляже

машины в пробке визжат  
но жить надо  
и все продолжается  
и это чудесно  
и дети едут в колясках  
в тот мир где нас уже наверно не будет  
и куда уходит эпоха упадка

\*\*\*

в чужом доме  
я надел чужие ботинки  
и гуляю по этажам  
вслушиваясь в эхо подошв  
это так странно  
как будто говорить  
с кем-нибудь

\*\*\*

ужасно старение манекенов в витринах  
на пластиковом идеальном лице  
появляются трещинки  
высыхают голубые глаза  
осыпается кожа  
а красивые губы просят  
не поцелуй а краски  
ужасно старение манекенов!

мускулистые мачо  
боксеры  
порноактрисы

модели  
еще бы куда ни шло  
но старение манекенов  
застывших  
казалось бы в вечных  
отточенных формах  
не дано перенести никому

и потому  
погладь потускневшую щеку  
бывшего красивого мальчика или девочки  
навсегда потерявшего  
дюралевые крылья  
своей юности

\*\*\*

черные перчатки голубей  
аплодируют  
снежному утру

\*\*\*

знай  
это стихотворение  
написано болью  
но не сердца  
а болью правой руки  
кончиками пальцев  
кистью  
случайно  
ушибленных этой ночью  
знай  
каждая боль  
имеет право на выход

этой ночью  
я попытался ударить  
по темноте  
отделяющей нас  
друг от друга  
(она была рядом  
а ты далеко)  
я замахнулся  
и наткнулся на что-то твердое

дверцу холодильника  
было больно  
слышался треск  
глухой и черствый как у меня внутри  
но темнота осталась на месте  
мерзкая как молчание телефона  
и только молния боли  
сверкнувшая в голове  
была мне ответом  
молния боли  
таившая искорку  
вдохновения

я включил свет  
сел за тетрадь  
написал несколько строк  
и потом внезапно подумал  
что все наши чувства  
по сути лишь следствие боли  
боли голода  
одиначества  
страха  
гениталий  
и нервов  
а мое чувство к тебе  
просто полученный  
в детстве удар в солнечное сплетение  
когда я скатившись на лыжах с горки  
упал и долго лежал на снегу  
решив что не смогу больше дышать

знай  
это стихотворение  
написано левой рукой  
знай  
я тебя не люблю

этой ночью  
я перебирал гору старых игрушек  
которые стали теперь никому не нужны  
вот золотой львенок которого  
мы купили на распродаже  
а вот смешной но милый верблюд  
которого выиграла бросая  
дротики в зоопарке  
игрушечные звери  
среди настоящих  
игрушечная любовь  
среди взрослого мира



в детстве я думал  
что мертвые оживают  
и что игрушки когда наступает ночь  
начинают играть  
теперь я вижу  
они мертвы  
их глаза раскрыты и вытаращены  
а я человек лишившийся части себя  
правой руки ушибленной о холодильник

каждое утро я просыпаюсь  
и сердце мое разворочено  
словно воронка  
с осколками дремлющих воспоминаний  
я ворочаюсь  
встаю  
шатаюсь по комнатам  
нет никого  
знаешь  
когда-то я верил в бессмертие  
а теперь хоч  
поверить в смерть

\*\*\*

как сладко могут пахнуть  
засохшие ягоды  
думаю о годах  
проведенных с тобой

\*\*\*

в одиночества вазу я ставил  
цветы друзей  
и вечер был тих словно ребенок  
оставшийся без родителей

в одиночества вазу  
я ставил цветы друзей  
и друзья мои тихо смеялись  
и друзья были веселы  
как бумажные корабли  
колыхающиеся внутри моего сердца  
плывущие к запретной гавани  
под звуки тамтамов

но никогда не достигающих ее  
берегов в лучах заката

в одиночества комнате  
я расставлял их бумажные цветы  
сухие словно лягушки или гербарий  
и дикие белые розы с шипами  
ослепительно хохотали  
как белоснежные самураи  
вспарывающие себе животы

\*\*\*

она отдавалась так легко  
словно выписывала пропуск  
в чудесную страну аттракционов  
залитых лунным мерцающим светом  
где вечно играет нежная музыка  
и все дети умерли от невидимой ядерной  
бомбы

\*\*\*

на семинаре поэзии  
словно некая  
знаменитость  
в черных очках  
стихи совсем  
не нуждаются  
в том  
чтобы о них  
говорили

\*\*\*

пока ты спишь  
никто не видит  
как две огромные белые птицы  
опускаются  
у твоих спящих глаз  
и клюют зерно  
тишины

пока ты спишь  
никто не слышит  
как у твоих белых рук  
лежат два белых кролика  
их глаза изумруды  
легонько поблескивают  
сквозь утренние сумерки  
и твои ресницы  
словно несколько одиноких беззащитных  
спутников  
прилеглих заночевать в белом поле  
щеки

иногда мне кажется  
что я тебя люблю  
а иногда что нас обоих кто-то придумал  
и здесь в этой комнате  
мы так беззащитны  
словно два пугала  
в пустом зимнем дворе  
и никто не знает  
как несколько черных псов  
одиночества  
подметают телами улицы  
пытаясь напасть на наш след

\*\*\*

становится  
совсем  
невыносимо  
когда  
некрасивая  
девушка  
пишет  
плохие  
стихи

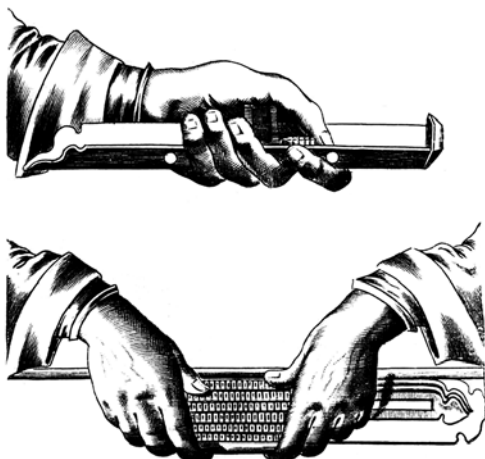
\*\*\*

я долго гулял по пустынному пляжу  
и в конце концов  
написал на песке что хочу умереть

пришли двое влюбленных  
и случайно стоптали надпись  
кажется потом  
они целовались

Екатерина Садур

## Детство Гамлета



### 1.

*Огненные птицы с золотыми лицами  
Ходят по карнизу, сбрасывая снег.  
Щёлкают клювами: «Дай испить  
водицы нам...»,  
Прсятся к девочке на ночлег.*

...Вот тебе два письма, о которых я забыла напрочь, пока случайно не отыскала их в ящике письменного стола, не моего, чужого, в дальней комнате нашего с тобой *дома у оврага*.

В эту комнату мы с тобой входили очень редко — и то для того, чтобы поставить на полки вдоль стен книги, которым нигде не нашлось места и которые почему-то не поднималась рука выбросить... Что значит выбросить книги? Это как маленькая смерть внутри тебя самого... Пока несёшь их к мусорным ящикам во дворе — тихая музыка внутри тебя, а в ней — не надо, остановись, молю... и слегка щемит, потому что музыку сложно различить, ведь ты почти бежишь к этим мусорным ящикам и шаги заглушают её...

И ты уже совсем не помнишь, почему этот дом с садом почти в черте города мы стали называть *домом у оврага*... Ты думаешь, что это игра. Да, это игра, как вся наша жизнь, потому что жизнь без игры была бы плоской и лишённой внутреннего смысла. Никогда не верь тем, кто говорит, что мы с тобой заигрались. У них своя жизнь, у нас — своя... Мы можем написать про них, если захотим, можем нарисовать их, можем придумать про них всё что угодно, а они не поймут нас никогда... Пусть трясутся себе, держась за поручни в своих электричках метро, когда едут на работу в восемь утра... Они ничего не знают про нас, просто сделали однажды свои чёрно-белые выводы, но ты не бойся, они ничего к нам не испытывают, кроме редких всплесков злобы и равнодушия...

Тем, кто будет читать в метро, на автобусных остановках, на кухнях, чтобы потом раздражённо выбросить в помойные ящики ваших глухих дворов, скажу коротко: меня зовут Варя. Там, на обложке, написана моя фамилия. И совсем не важно сейчас, сколько мне лет. Таких, как мы, не очень много, но, к счастью, гораздо больше, чем бы вам всем хотелось... Иногда мы узнаём друг друга, а иногда, заразившись вашей равнодушной спесью, можем пропустить... От этого горько...

Но я вернусь к *дому у оврага*. Ты пойми раз и навсегда и не забывай: мы — люди игры. И наш дом у оврага — это возврат в прошлое. В прошлое счастье. Я специально привезла сюда старые вещи. Все они в дальней комнате. Все они настоящие, ты же знаешь... Никогда не выбрасывай книги, и тогда твои руки никогда не осквернят плохие книги, они просто к тебе не попадут. Отдавай их только тем, кому они понастоящему нужны, а не для того, чтобы заполнить паузу.

Когда я перечитываю эти письма, я возвращаюсь в прошлое, не слезливой памятью, а почти что плотью и кровью, и это — часть моей игры, которую я затеяла когда-то давно, для того, чтобы как-то расшевелить ваш скудный монохромный мир, чтобы вы смутно догадались: *бывает по-другому*...

## 2.

— *Что ты возьмёшь с собой,  
девочка Коломбина?—  
внезапный вопрос пролетавшего мимо.*

*Она оглядывается с мольбой:*

— *Мои с картинками детские сказки,  
Злое, заточенное перо  
И тюбик красной краски,  
Украденный у Пьеро.*

«... что сказать тебе про мои стихи? — писала Варя бабушке когда-то очень давно. — Это не стихи даже, да и я — не поэт... Я чувствую всё их несовершенство. Они, скорее, как следствие прозы, которую я пишу, как следствие того, что я пишу вообще. Особенно то стихотворение про книгу Клоделя... В поэзии я гостя. Но в прозе... я хочу, чтобы ты поняла, что я сейчас скажу... Как бы я не ошибалась и не заблуждалась, как бы не отскакивала в страхе, заглянув в бездну... — помнишь, ты рассказывала мне, как вы детьми играли над обрывом, а когда темнело вечером, он казался пропастью, и вы все по очереди подбегали к краю, заглядывали, пугаясь темноты и сразу же убегали... И ты ещё говорила, что среди вас был смешной маленький мальчик и что он всё время думал. Его звали Африкан, а его фамилия была Асташкин? Он боялся с вами бежать. И когда вы смеялись, он отвечал вам: «Не хочу пропасть в пропасти...» Тогда вы бежали бояться без него, а потом возвращались и рассказывали про чудовищ, живущих на дне. Ты потом сама вспоминала не раз, что очертания камней на дне оврага походили на косматых чудовищ сна, сгрудившихся в кучу... А вечерами вы сидели с Африканом, и он обнимал тебя за шею своими маленькими руками, и вы шёпотом, чтобы не услышали его братья и сёстры — потому что он был тринадцатым в семье, но не самым последним, — говорили про этих чудовищ — как они живут и что думают и могут ли подняться со дна... — Так вот, как бы я ни блуждала во тьме, нащупывая слова,

их значения и ритмы, — в прозе я королева... Проза живёт во мне, а я в ответ — царствую в ней...»

### 3.

*Вам я шлю стихи мои, когда-то  
Их вдали игравшие солдаты!*

*Только ваши, без четверостиший,  
Пели трубы горестней и тише...*

И. Анненский.

«... Я понимаю всё, что ты хочешь сказать, и думаю, что понимаю всё, что ты чувствуешь... — писала бабушка в ответ. Письма, которые она присылала, были на удивление молодыми, с ясным округлым почерком, который легко прочитывался, сколько бы страниц она ни исписала. — Вернее, я бы хотела понимать всё то, что ты чувствуешь, чтобы всегда, в любую секунду твоей жизни поддержать тебя и чтобы тебе было к кому и куда обратиться... Твоя упоённость собой обоснованна. Когда много, хорошо и упоённо пишешь, тайны мира раскрываются или хотя бы называют себя... И тогда мир стягивается к тебе, начинает вращаться вокруг тебя, одновременно сужаясь... И дальше, Варя, будь очень внимательна: *ты притянула к себе только часть мира, малую его крупицу*. А мир намного больше... Следи за собой и за тем, что ты чувствуешь, очень внимательно... Если ты будешь слишком упиваться собой, своим восторгом от незападных открытий, высокомерием обострившихся чувств и красоты, кажущимся превосходством и ощущением избранности, то ты ослепнешь от самой себя, и мир захлопнется перед тобой с громким стуком, как дверь на сквозняке.

Ты так и не спросила меня, что стало с Африканом Асташкиным, когда он вырос, и другими детьми из их огромной семьи. Мы переехали из дома над оврагом на другой берег Оби, и я ничего не знала о них. Мы были детьми, и между нами текла река. Обь? Да нет же... Стикс, наверное... Иногда мне снилось по ночам, что наш овраг, заросший

лопухами, в каждый из которых можно было завернуть Африкана, засыпают железные ковши, а страшные, скученные камни на дне поднимаются всё ближе и ближе, медленно шевелясь и меняя форму, стряхивая землю с себя, и уже давно стало понятно, что они — иное, не камни совсем... Иногда мне снился Африкан, как он сидит у меня на коленях, свесив ножки вниз, и тихо шепчет, не разделяя слова: «...не пропасть в пропасти...», засыпает, а всё шепчет, уже невнятно: «пр-пр», или я несу его на руках через двор по кромке оврага, а он прячет лицо мне в плечо...

Я встретила его во время войны, когда ему было 14 лет, и он уже сам мог приезжать на левый берег Оби в художественную школу... Не удивляйся, но Африкан Асташкин стал художником. Это стало понятным уже тогда, в его 14 лет... Я куда-то шла по Красному проспекту мимо старых домов, моя мама всё никак не могла привыкнуть к его теперешнему названию и по старинке называла Николаевским... И тут он, Африкан Асташкин, догнал меня и просто пошёл рядом, как будто бы мы расстались только вчера. На днях мне исполнилось 16 лет, стояли последние дни декабря, заканчивался 42-й год. Он очень вытянулся. Стал почти на голову выше меня. Я запомнила его огромные рукавицы, доставшиеся от кого-то из старших братьев, и валенки из белого войлока, ставшего грязно-серым. Я просто кивнула ему, потому что стоял самый настоящий сибирский мороз и было холодно говорить — дыхание влажно оседало на губах и тут же леденело. Он нёс большую картонную папку, и я не знала, куда он идёт, но почти сразу же поняла, что там рисунки. Его старшие сёстры, с которыми как-то летом мы плели гамак и пытались повесить качели так, чтобы в полёте были видны склоны оврага, работали теперь на военном заводе, а старшие братья ушли на фронт... С Красного проспекта он свернул в переулок. Он даже не предложил мне идти вместе с ним, это подразумевалось само собой, как если бы мы расстались только потому, что стало темно и нас позвали по домам. И тогда я поняла, что времени для него не существует... Я даже не видела его

глаз: из-под огромной треугольной шапки виднелась смешная нижняя часть его детского лица — нежный, почти девичий подбородок. Мы остановились перед воротами большого деревянного дома на несколько семей. Ты ещё помнишь эти бревенчатые дома? Так вот, их почти не осталось... Яркое светило декабрьское солнце, и чистый твёрдый снежок весело скрипел у нас под ногами и казался особенно белым, опрятным и сверкающим, потому что напитался золотыми потоками света. Снег так сиял, что глаза наполнялись слезами, но от мороза слёзы замерзли на ресницах. Африкан толкнул створку деревянных ворот, и она поехала со скрипом по утопанному снегу, и мы вошли во двор.

Во дворе на верёвках, обвязанных вокруг стволов деревьев, сушились простыни. Они обледенели на морозе. Несколько мальчиков строили снежную крепость. У них выходила довольно высокая стена с узкими окнами — бойницами. Девочка возила по кругу санки, в которых сидели две куклы и её маленький брат. Ей нравилось смотреть, как её валенки увязают в неглубоком снегу, оставляя овальные следы, и тянутся ровные полоски полозьев...

Мы вошли в дом. Нижняя часть лица Африкана широко разувалась под треугольную шапку, которую он тут же снял, открывая побритую голову и тёмно-голубые глаза. Он снял пальто и какие-то толстые вязаные кофты и выпрыгнул из огромных валенок, достигающих ему почти до колен. Всё это он проделал очень быстро, почти мгновенно, пока я медленно развязывала узел шали и расстёгивала пуговицы на шубе. Африкан остался точно таким же, каким был тогда, в доме над оврагом, только его тело очень выросло и удлинилось. Ему надоело смотреть, как я долго копаюсь. Он подошёл ко мне и, обхватив меня руками, поднял вверх и вытряхнул из валенок. Кисти его рук стали большими, худыми, с длинными, очень сильными пальцами в разноцветных, плохо отмытых пятнах краски.

Мы вошли в комнату с большим деревянным столом и длинными лавками, с чёрным венским стулом во главе.

— Никого нет, — сказал Африкан и с облегчением вздохнул. — А мы, вот, вовремя...

Это были первые слова, которые я услышала от него.

Я села на лавку перед столом. Африкан развязал свою большую картонную папку и выложил из неё два рисунка. Я увидела, что рядом на столе лежат точно такие же картонные папки других учеников. Я хотела встать и посмотреть его рисунки, но он подошёл сам и совсем как в доме над оврагом сел ко мне на колени и обнял за шею своей длинной худой рукой. Он был даже не очень тяжёлым, но полностью закрыл меня. Моё лицо упиралось ему в спину, куда-то под лопатки.

— Африкан, — возмутилась я, — ты больше не можешь, как тогда, сидеть у меня на коленях...

Это были мои первые слова, которые я сказала ему.

— Пожалуй, ты права, — согласился Африкан. — Мне неудобно держаться. Я всё время съезжаю... Давай-ка лучше наоборот... — и посадил меня к себе на колени.

Так оказалось удобнее...

Он даже покачивал меня из стороны в сторону, как я его когда-то в детстве. И мне вдруг тоже показалось, что времени нет или что всё это время мы с ним не расставались.

— Почему тебя побрили налысо? — и я потрогала его голову, хотя я знала ответ.

— Чтобы зря не тратить керосин, — сказал он. — Вши завелись. А тебя? — и он точно также провёл руками по моей голове.

— Чтобы вши не завелись, — и я даже засмеялась тогда, потому что стало как-то спокойно. — Ну и мыло зря не тратить, когда моешься...

В комнату вошла женщина с горячей кастрюлей. Она сварила картофельные очистки и немного моркови. Следом за ней шёл мужчина в длинном коричневом свитере. Такие тогда не носили в Новосибирске. Мужчина и женщина были из ссыльных или эвакуированных.

— Я занимаюсь сегодня с самыми маленькими, Африкан, — сказал мужчина. —

Они пока играют во дворе. Но ты молодец, что пришёл... Мы сегодня рисуем твои любимые яблоки.

Африкан разволновался. Он аккуратно поставил меня на пол и встал рядом. И вдруг я увидела, что он ростом с мужчину в свитере, а я даже немного выше женщины, вошедшей в комнату. А ведь мы только что сидели друг у друга на коленях... Мне стало стыдно, но почти сразу же я отвлеклась.

Мужчина положил немного соломы на стол и накрыл её клеёнчатым платком с широкими кистями... И дальше... — ты поймёшь меня на словах, но, к счастью, никогда не почувствуешь того же, — шла война, и мы голодали, — мужчина высыпал прямо на расстеленный платок пять яблок. Ярко-красных, с желтоватыми пятнами на бочках и зелёным разводом вокруг черенка. Невольно я шагнула вперёд и даже протянула к ним руку, но тут же одёрнула... И мне снова стало стыдно...

— Не ты первая, — сказал мне мужчина и грустно улыбнулся. У него было очень худое, измождённое лицо, как у многих тогда, и это не удивляло. Удивляли его глаза. Они казались очень добрыми и умными, как будто бы он всё заранее знал, и я сразу же перестала стыдиться и бояться. — Это яблоки для художников. Они из воска. Возьми посмотри, — и он протянул мне одно.

На ощупь оно было почти как настоящее, твёрдое, но немного скользкое. И я даже понюхала его. Оно ничем не пахло. Я даже его незаметно лизнула, и тут же увидела на жёлтом блестящем бочке многочисленные следы зубов.

— Я всё знаю, девочка, — сказал мужчина, забирая у меня яблоко. — А сейчас мы немного поедим.

Мы сели с Африканом за стол, и вдруг он погладил нас по налысо остриженным головам точно так же, как мы только что гладили друг друга.

— Нужно позвать остальных детей...

Но они уже пришли сами: мальчики, строившие крепость, и девочка с маленьким братом и санками... Они смеялись и толкались, раздеваясь в сенях.

Но вдруг на втором этаже раздались звуки пианино. Кто-то играл гамму.

— Там музыкальная школа, — сказал Африкан.

— А на третьем? — спросила я.

— На третьем у нас танцуют...

Дети расселись за столом на деревянных лавках, каждый перед своей папкой. Среди них были совсем малыши, меньше, чем мы, когда жили в доме над оврагом. Что они могли нарисовать?

Я сидела рядом с Африканом. Женщина обходила стол и ставила перед каждым тарелку. А я сидела и думала, поставит ли она тарелку передо мной. Ведь я же не учусь вместе с ними... Женщина поставила тарелку перед Африканом, и она оказалось последней. Больше у неё в руках ничего не было... Всё оборвалось внутри меня. Я поняла, что меня не покормят... Я уже писала тебе, Варя, мы голодали в войну. Целыми днями мысли крутились вокруг еды, а по ночам снилась горячая гречневая каша с молоком или простой чёрный хлеб с солью и побегами зелёного лука, поэтому простая возможность поесть приравнивалась к счастью...

Женщина, разносившая тарелки, подошла к мужчине. Он сидел на венском стуле во главе стола. Она что-то сказала ему на ухо. Он кивнул и отдал ей свою тарелку. Женщина тут же вернулась и поставила её передо мной. И я была счастлива. Я даже почувствовала, как всё внутри меня дрожит. А когда она налила мне в тарелку суп из картофельных очистков и жареной моркови, я закрыла глаза и дышала его запахом и только потом стала есть. Мужчина во главе стола обедать не стал. Просто молчал и смотрел на нас... Супа было мало, и поэтому ели мы недолго.

А когда закончили, мужчина сказал:

— Покажи всем, что ты принёс, Африкан.

И я снова увидела, что Африкан очень волнуется. Он взял оба своих рисунка, которые я так и не успела рассмотреть, и побежал к мужчине на венском стуле.

— Вот... — и положил перед ним. Он стоял, не зная, куда деть свои руки с плохо

отмытой краской, и ждал, что скажет мужчина. А тот переводил взгляд с одного рисунка на другой, как будто бы не знал, какой из них выбрать. Потом — надолго остановился на первом, а после — закрыл глаза, что-то обдумывая.

Дети вставали из-за стола и становились за его спиной полукругом, чтобы тоже посмотреть рисунки Африкана Асташкина. И я подошла вместе со всеми и встала за спиной их учителя, который, недоедая сам, пытался накормить всех детей и научить их всему лучшему, что умел... Больше всего на свете я бы хотела, чтобы у тебя, Варя, когда-нибудь был такой учитель.

— Очень хорошо, Африкан, — тихо сказал он. — Только в нижнем углу каждого рисунка напиши свою фамилию...

То, что он нарисовал, не укладывалось в понятие «хорошо». Это было гораздо больше, гораздо значительнее, чем простое «хорошо».

Я знала Африкана очень давно, гораздо дольше, чем кто-либо из присутствующих. Многие из этих детей уже родились после того, как мы переехали на правый берег Оби. На каждом его рисунке неподвижно застыли мгновения жизни, которой я когда-то жила и которую не забывала ни на миг.

Первый походил на офорты Гойи и назывался «Чудовища сна». Там были чудовища на дне бездны — химеры с крыльями и чешуйчатыми хвостами, с лягушачьими перепонками между пальцами и человеческими лицами. Я узнала их сразу же. Мы столько раз нашёптывали о них друг другу в летних сумерках.

— Это страхи темноты, — сказал Африкан. — Они становятся заметны в промежутке... когда ещё не спишь, но уже не бодрствуешь...

Как этот маленький мальчик, который по детской привычке уселся ко мне на колени, смог так выучиться рисовать, думать, говорить, пока мы росли по разные стороны Оби?

— «Когда разум спит, фантазия в сонных грёзах порождает чудовищ...» — сказал их учитель, прикрыв глаза, как будто бы что-то вспоминал.

Но Африкан не дал ему закончить:

— Франциско Гойя! — почти выкрикнул он и даже покраснел от смущения и нетерпения.

— Правильно, — кивнул их учитель и продолжил: «...Но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусства и всех его чудесных творений...»

Два маленьких мальчишки за его спиной вытаращили глаза и, растопырив согнутые пальцы, нацелили их друг на друга. Это они изображали чудовищ сна со дна нашего оврага.

Африкан не знал, как назвать свой второй рисунок. Но когда я увидела его, мне почему-то захотелось уткнуться в плечо их учителя и горько заплакать. «Ушло... ушло... ушло...» — это было единственное слово, которое повторялось у меня в уме и стучало в висках, просто я не знала, как иначе выразить свои чувства.

— Ушло... — невольно сказала я вслух.

Их учитель сразу же обернулся ко мне:

— Что ушло? — с интересом спросил он.

— А разве вы не видите? — тут Африкан неожиданно подошёл ко мне и взял за руку, вернее, зацепил своими пальцами мои. Он так всегда делал раньше, когда хотел, чтобы со двора или от лопухов у оврага мы вернулись в дом. — Разве вы не видите, что это Рождество и ёлка для нас, вот только мы выросли и уже совсем не такие, как здесь... — и я показала на рисунок.

— Не вижу ничего плохого в том, что вы выросли, — сказал их учитель.

Самый высокий из детей едва доходил мне до плеча и был по грудь Африкану.

— Если бы они не выросли, — спросил кто-то из его учеников, — это означало бы, что они умерли?

— Это означало бы, что времени для них нет, — ответил их учитель.

... Первую ёлку в своей жизни я увидела в доме у Африкана. Как-то поздно вечером его мать пришла к моей и о чём-то спросила, та кивнула, улыбнувшись. Его мать взяла меня за руку, и мы молча пошли по длинному коридору к комнатам, в которых жила их семья. На мне было жёлтое фланелевое



платье с круглым воротничком, под которым моя мама, прежде чем меня отпустить, завязала маленький красный бантик. Она так и не смогла прицепить его к волосам, уже тогда меня очень коротко стригли. Мама поцеловала меня в лоб, и я увидела, что ей очень хочется с нами.

Когда мы вошли в комнаты Асташкиных, его мать приложила палец к губам и плотно закрыла дверь. Ставни на окнах были тоже плотно закрыты, чтобы никто не увидел нас с улицы. Я стояла в тёмной комнате и различала только длинный, с белой скатертью, стол, чем-то заставленный, и красную ширму в углу, за которой горел приглушённый тёплый свет и дрожали длинные тени.

— Все собрались, — ласково сказала мать Африкана и позвонила в маленький серебряный колокольчик, который показался продолжением её голоса.

— Сейчас, — ответил из-за ширмы их отец. И его голос тоже был как продолжение звона колокольчика, но гораздо более низкий.

Мои глаза стали постепенно привыкать к темноте: и вот я вижу, что все братья и сёстры Африкана сидят за столом, а сам он — на стуле спиной ко мне, и я облокачиваюсь об его стул... И тут он своими маленькими пальцами цепляется за мою руку и подвигается, чтобы я села на краешек стула... А его отец отодвигает ширму, а мать включает свет, и все мы замираем... Высокая, растопырив зелёные пушистые ветки в золотых, серебряных и разноцветных игрушках, среди которых были прозрачные ангелы с крыльями из настоящих перьев и стеклянными трубами, с зажженными свечами в блестящих подсвечниках стояла ёлка.

И все сразу засмеялись, принялись шутить между собой, толкаться, обниматься. Самые маленькие были смущены и поворачивались к большим. Африкан, как обычно, залез ко мне на колени и спрятал лицо у меня на плече. А потом их мать снова позвонила в серебряный колокольчик, и все замолчали. А их отец достал из нагрудного кармана маленькую красную книгу с золотым крестом и старыми промасленными

страницами и стал читать о рождении Христа. Позже я узнала, что это было «Евангелие от Луки»...

А потом всем раздали подарки. У меня оказался маленький позолоченный орех и такая же маленькая кручёная свечка в коробочке из тёмно-синего бархата... Эту коробочку со свечкой и орехом моей матери удалось поменять в самом начале войны на два куска хлеба, тонких, как твои пальцы.

На втором рисунке Африкана Асташкина были нарисованы дети, сидящие за столом. Придуманные дети. Никого из них я не могла узнать... Придуманные дети, да, конечно... И вдруг почему-то узнала себя по красному банту под воротничком... Лица детей сияли от праздника. Один малыш безмятежно улыбался, но его глазки сонно слипались, а голова тяжелела и клонилась на грудь, потому что в обычные дни в это время он давно спал... С правого края виднелась половинка лица матери с большим печальным глазом и робким, едва различимым фрагментом улыбки. Слевого — так же до половины шло лицо отца. Его светло-серый глаз, наоборот, был очень весел и даже по-заговорщически прищурен, а вот угол губ печально опускался вниз. И если сложить обе половинки лица отца и матери в одно лицо, то получался человек, которому было очень печально и, может быть, даже очень страшно, но сейчас в его душе воцарилась радость и торжество с такой силой, что страх и печаль казались неважными и исчезали, как тени, рассеивающиеся на свету... За спинами детей виднелись окна, наглухо закрытые ставнями, и на окнах — этого не было в жизни! — но здесь, на рисунке, на окнах висели замки.

И почти невозможно было рассмотреть, что стояло на столе, потому что на первый план из нижнего угла рисунка выходили ветки рождественской ёлки в маленьких свечках и звёздочках.

Мысленно я соединила замок на окне и край еловой ветки, и у меня вышла прямая линия, потом я соединила половинки лица отца и матери, и снова получилась прямая линия. При пересечении обе эти линии складывались в крест, в центре которого

находилась маленькая красная книга. Раскрытую книгу держали в руках девочка и мальчик и, по-видимому, читали вслух. На шее у девочки, как я тебе уже писала, был завязан маленький красный бант...

— Ты уже придумал название для композиции? — спросил их учитель.

— Сначала я думал: «Страх и счастье», — ответил Африкан. Он говорил очень ясно, даже как-то опрятно, как будто бы его учили не только рисовать и думать, а ещё и говорить. Но он волновался, я знала... — Но сегодня ночью понял, что счастье всё-таки намного важнее и сильнее страха, если вдруг наступает... Когда случится победа, мы перестанем бояться войны, ведь так? — их учитель кивнул. — И тогда я решил оставить в названии только «Счастье».

А потом все дети сели обратно на лавки вдоль стола и принялись рисовать восковые яблоки на клетчатом платке поверх соломы.

— Ты будешь рисовать? — спросил меня их учитель. — Дать тебе бумагу?

Но тогда чувства настолько переполняли меня, что не только рисовать — я почти не могла говорить.

Я только покачала головой:

— А можно мне только посидеть рядом с Африканом?

Зимнее солнце вливалось в окна прямо из прозрачного неба, стёкла сверкали, сливаясь с воздухом. Дети изредка переговаривались, рисуя: «Дай кармин...» — «У кого запасной уголь?» Рисовал и Африкан, вернее, что-то делал с бумагой, что на ней вдруг сначала как намёк, но потом всё достовернее проступали яблоки.

От горячего супа чувство голода непривычно притупилось и почти прошло. В комнате было жарко от натопленной печи, и я, уткнувшись головой в плечо Африкана, почти заснула... Я ведь совсем не думала тогда — мешаю я ему или нет и что, может быть, ему неудобно так сидеть, я только чувствовала, как тяжелеют веки и наступает покой. Я думала, что там, снаружи ясный ледяной мороз и колкий снег, а ещё дальше — война и страх, и что раньше, пока не было войны, был один только страх. Я чув-

ствовала его сквозь детство: по вечерам мы запирали окна и двери, потому что ночью «разъезжали «воронки», я точно не знала, что это такое, но знала, что нужно бояться. И ночью втайне праздновали Рождество не мы, а простоватая семья Асташкиных, и звали меня, потому что «...Рождество для всех... для всех детей...» — так объяснил их отец. А потом, наутро, нам строго наказали молчать, чтобы ночные «воронки» не остановились у нашего дома, где так много детей и почти совсем нет взрослых...

Ещё я думала, что здесь, в комнате, вокруг этого измождённого человека, точно так же, как и я, задремавшего на своём стуле, собрались маленькие голодные дети, у которых никогда ничего не было, кроме окриков и нищеты, а сейчас они рисуют и создают красоту, и всё это потому, что он, их учитель, смог объяснить им, что красота разлита в мире, и научил собирать её на листе бумаги... И что мне случайно показали этот удивительный мир, как когда-то показали Рождество... Я очень хочу в нём остаться, но, наверное, никогда больше не попаду туда, что меня позвали проститься... И вдруг наверху тоненько и нежно заиграла скрипка, как бы прощаясь — тягуче, жалобно... Это там у них, наверху, начался следующий урок... А я проснулась и медленно подняла голову с плеча Африкана... Солнце больше не било в окна. Сгустились сумерки. В комнате зажгли электрический свет. Их учитель по-прежнему сидел на своём месте во главе стола и ждал, когда остынет кипяток в гранённом стакане... Многие дети уже закончили рисовать и выложили свои работы в одну линию по краю стола, как будто бы это был бесконечно длинный прилавок рынка, засыпанный соломой и яблоками или что вдруг сюда, в жарко протопленную комнату, посреди зимы ворвался август, Преображение, и выложенные в церковном дворе яблоки на длинных столах ждут, когда на них прольётся святая вода...

Африкану было неудобно сидеть, но он старался не шевелиться, чтобы не тревожить меня. Свою работу он тоже закончил, и я, как будто бы мы снова были маленькие, протянула руку к рисунку и сказала:

— Я сейчас всё это съем...

И он тут же ответил:

— Только попробуй, — и засмеялся.

А я ловко выхватила его рисунок и побежала по комнате. Африкан тут же побежал за мной. Все остальные дети с удивлением смотрели на нас: мы были здесь самыми взрослыми.

Я встретилась глазами с их учителем и остановилась. На улице стало совсем темно, и мне пора было уходить.

Я вышла в сени. Африкан вышел за мной, чтобы попрощаться. В сенях оказалось очень холодно, и я почувствовала, что снова погружаюсь в сон, и медленно принялась искать свою одежду. Африкан подошёл ко мне и снова, обхватив руками, поднял вверх и поставил в валенки. Так же, как когда мы только пришли.

— Вы по-прежнему празднуете Рождество? — шёпотом спросила я. — Справляете ёлки, совсем как тогда?

— Нет, — покачал головой Африкан, — мы больше не дети, и мы больше не плачем, если не сбываются наши мечты...

Я пришла в этот дом в конце 43-го, ровно через год... Я знала, что нужно прийти раньше, но всё откладывала и откладывала... Никогда не делай так, Варя, иначе потом будешь сожалеть...

Когда я вошла во двор, то увидела двух взрослых усталых людей, мужчину в телогрейке и беременную женщину, казавшуюся невероятно толстой из-за огромного живота. Мужчина докурил папиросу и принялся колоть дрова, а женщина железной лопатой разгребала снег перед входом в дом.

Я подошла ближе, но они даже не взглянули на меня: каждый из них был сосредоточен на своём.

Я спросила, где живут художники, но никто из них даже не повернул головы в мою сторону.

— Здесь была художественная школа, — сказала я, — а на втором этаже — музыкальная. А на третьем — танцевали...

Тогда мужчина опустил топор и угрюмо посмотрел на меня, а женщина так и продолжала разгребать снег...

Я обошла вокруг дома по пустому двору и не нашла ничего, кроме чёрного остова пианино, изрубленного на дрова...

И больше я никогда не встречала художника Африкана Асташкина. Я пыталась найти его или хотя бы его работы, но о нём никто ничего не знал...

И дальше в течение многих лет в минуты отчаяния я думала, что он умер от голода или от тифа, а в минуты счастья, если вспоминала о нём, то надеялась, что он просто поменял имя, как это часто бывает с художниками; ведь мы тогда смеялись над его именем, и он это знал...

Сейчас, в старости у меня очень много времени, чтобы всё обдумать, и я поняла, что раньше его не было, потому что я всё время спешила. Мне всё время казалось, что я должна бежать, потому что опаздываю на поезд, а этим поездом была моя жизнь...

Как жаль, что меня нет с тобой, детка моя! Я очень скучаю... Я бы, как когда-то давно, усадила бы тебя на колени, расчесала бы твои волосы, каждую прядку отдельно, заплела бы тебе две косички... Помнишь, как мы ходили покупать тебе ленточки в галантерее, когда я получала пенсию, и на тебе была синяя, с перламутровым отливом курточка? Ты оттянула её ткань двумя пальцами и, показав мне, сказала: «Кра-си-во-о...» Но всё это было так давно, что, наверное, не сохранилось в твоей памяти.

Наш дом над оврагом на левом берегу Оби снесли сразу же после войны.

Всё это я помню ясно, как случившееся вчера, а то, что произошло вчера, иногда забываю совсем.

Когда потеплеет, я собираюсь поехать в Академгородок к берегу Обского моря. Однажды мы приезжали туда с тобой, но песок ещё не прогрелся после холодов, поэтому я даже не могла позволить тебе разуться. И ты бегала в жёлто-зелёных сандаликах с плетеными ремешками, таких маленьких, что когда я брала твою ножку, она оказывалась меньше моей ладони.

Там, на берегу, днищем вверх лежали голубые деревянные лодки, наполовину

врытые в песок, и такие же голубые кабинки для переодевания покосились после зимы. Тебе нравилось прятаться от меня. Я делала вид, что не могу тебя найти и громко спрашивала: «Где же Варенька?» — хотя из-под кабинки виднелись сандалии в плетёных ремешках.

Тогда мне казалось, что само детство играет со мной на берегу сурового Обского моря и, смеясь, прячется от меня...

И ещё — помнишь вётлы, которые росли там на берегу и тянулись ветвями прямо в воду?

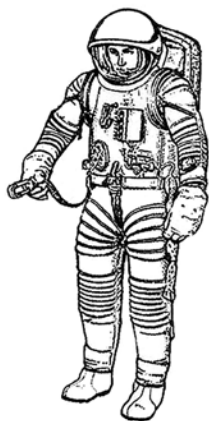
Я собираюсь ещё раз проведать этот берег и заодно посмотреть — не спилили ли их?

Мне хочется прочесть всё, что ты пишешь, всё, что ты считаешь возможным мне показать...

В моём Новосибирске скоро лето...»

Александр Верников

## Безумный психонавт



\*\*\*

Жизнь как море — как с гуся вода,  
Что тут скажешь? Хорош гусь!..  
Все что было — беда-лебеда —  
Отожгло, отхлестало — ожгусь

Хоть еще раз? О что там — о страсть?  
О любовь и надежду?  
Взмыть бы чистенько да не упасть,  
Ведь невежду

Не сыграть уже так хорошо,  
Даже если по-новой родиться.  
Этот сказочный поезд ушел,  
Грех сердиться.

\*\*\*

Я из тех, кому счастье прощается  
И широкой рекою течет,  
Жизнь хорошая не кончается,  
Солнце светит и печка печет —

Пирожки да блинчики с приговорами,  
Кашки-супчики с морем приправ,  
Зелен луг, красен лес мухоморами,  
Ясен пень, в небе сокол — я прав?

Или мне возраженье последует?  
Телевизор взорвется в ответ?  
Поезд следует куда следует,  
Белый свет, белый свет, белый свет...

\*\*\*

Снег идет из фонаря  
 В середине января,  
 Я смотрю на белый снег,  
 Тоже белый человек,

Жизнь проживший не одну  
 И ко дну  
 Все не идущий никак,  
 Как моряк  
 И как варяг,  
 Как пилот и космонавт  
 И безумный психонавт.

Все лечу себе лечу,  
 Сам себе в пути свечу,  
 Свет, как снег, не сбросить с плеч,  
 Хоть растаять, хоть залечь,  
 Не стряхнуть ни с век, ни с крыл —  
 Видно сдуру перекрыл  
 Смерти чистый кислород —  
 Маюсь житием, урод.

\*\*\*

Дожить бы до смерти — ведь не дожить  
 нельзя,  
 Немыслимо навек в живых остаться —  
 Подруги, жены, дети и друзья —  
 Как с ними-то не по-людски расстаться?

Но если сила жизни прет и прет,  
 Великая, о неостановимо!..  
 Пускай тогда попутка заберет,  
 Летящая скорее света мимо.

\*\*\*

Знать места, ведать доли и горы,  
 По урочищам гадом скользить,  
 Собрать и сушить мухоморы,  
 Скорой помощью их отвозить

В иномирье до опыта жадных,  
 Но боящихся самолетать,  
 И не звать уже дев ненаглядных  
 В голом виде восторг испытать,

Видеть в небе парящую птицу —  
 Канюка, осоеда, орла —  
 Всех простить и со всеми проститься,  
 Довела, мать сыра, довела.

\*\*\*

Канюк над озером, над темным, в первом  
 сале,  
 Весь берег в голубике и в снегу...  
 В каком Останкине, в каком Колонном зале  
 Я пережить подобное смогу?

Трава болотная и рогозы пустые,  
 С султанами из замши над травой...  
 Места глухие, тихие, простые,  
 Земля ближайшая, я твой.

\*\*\*

Встретить смерть идеальное место —  
 Этот в тонкой пороше лужок,  
 Эти кочки травы, этот лес, что  
 И не лес, а над лесом смешок...

Да, смешок, а не смех — криворуки  
 Елки-палки, уродцы ольхи —  
 Через них получались уроки,  
 В их тени вырастали стихи

И грибы — двести дротиков в душу,  
 Чтоб бесчувственный разум умолк,  
 Чтобы вышли на самую ружу  
 И Царевич, и сказочный Волк,

И Жар-птица с Еленой Прекрасной,  
 Нет, с Ириной, волшебной женой...  
 Вот стою, многоопытный, страстный,  
 Многоликий, ничем не большой.

Сколько можно! По сотому кругу  
Я мотаю счастливейший срок.  
Помоги мне, Создатель, как другу,  
Пусть охотник нажмет на курок

По какой-нибудь глупой ошибке  
И снесет мне картечью башку —  
Не при Бородине, не при Шипке,  
А вот так, на подходе к леску...

\*\*\*

Чтоб совсем-то не освободиться  
Прямо в этой жизни во плоти  
Можно водки добела напиться  
И похмелье с тряской обрести  
Или взять да по уши влюбиться  
И семью на годы завести —  
Или хворь в своем нутре найти.

И бороться, изо всех бороться,  
Преодолевать и побеждать,  
Покорять, с упорством новгородца  
Типа снятия осады ждать,

И мечтать, надеяться и верить,  
Что придет однажды светлый день  
Или даже во Христа поверить,  
Навести евангель на плетень,

И с бесовским полчищем сразиться,  
Террористов вылететь бомбить,  
Мировой войною разразиться —  
Чтобы время как-нибудь убить.

\*\*\*

Так хорошо, что так не может быть,  
Так хорошо на свете не бывает...  
Так, может, время этот свет забыть  
И полететь на тот, что призывает?

Да, полететь, конечно, полететь,  
Чтоб полетать в пути над облаками

И над горами, сверху поглядеть  
На Землю милую с голубыми реками,

На ту, которую любил и грел  
Всем жаром сердца, всем безумством плоти,  
И на которой от любви сгорел,  
Как чертов бес на адовой работе.

\*\*\*

Я был Антуан де Сент-Экзюпери,  
Теперь-то мне стало понятно,  
Откуда такая свобода внутри,  
И солнце!.. Люблю твои пятна.

О где б ты ни села, леталка моя,  
Любовь или просто причуда —  
Я в небе на крыльях, такая семья,  
Давно, на все время оттуда.

### **Стихи, пришедшие во время просмотра фильма «Вдаль уплывают облака» финского режиссера Аки Каурисмяки**

Вдаль уплывают облака,  
По-фински медленно и сонно,  
Под ними вдаль течет река,  
От них свинцово монотонна...

Как финном эту жизнь прожить,  
На свет явившись в Гельсингфорсе —  
Нет, хуже, в Хельсинки — служить  
В компании, как клюква в морсе

С другими рядом, наравне,  
Без шуток натурально киснуть,  
И вдруг поняв, в каком говне  
Полжизни прожил, — взять повиснуть

Под потолком, шагнув в петлю  
С обрыва белой табуретки  
На голой кухне, «Я люблю  
Вас» так и не сказав соседке

С глазами, серыми как снег,  
Что тает на асфальте в мае,  
А в жопу пьяный человек,  
Везом домой в пустом трамвае,

На этот снег глядит, глядит —  
Мечтает, лох, о Барселоне,  
А сам тихонечко пердит  
От газов, скопленных в колонне

Кишечника — о вечный червь,  
Все время требующий пищи  
Из самого нутра! Поверь в  
Другую жизнь, когда кладбище

За поворотом разлеглось  
И ждет-пождет — не доставало  
Родной земле — не треснет ось! —  
Тебя, приятель... Калевала

Все врет, и ловкий швед ее  
От скуки сочинил, сучара!  
Как перемять бытие  
И больше не начать сначала?

\*\*\*

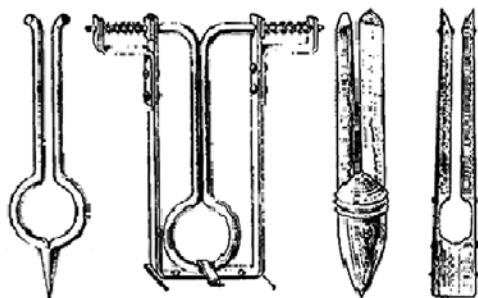
Жизнь удалась во всем объеме —  
В таком объеме удалась,  
Что ей на милость предалась  
И смерть сама во всем объеме.

И как теперь мне жить и быть,  
Бессмертным и обоесветным,  
Все что ни попадя любить  
Единым чувством безответным?



**Алексей Лукьянов**

## Слабак



*Больничная палата. День.*

*Большая светлая комната. В углу бормочет телевизор, на подоконнике цветы, у стены — больничная койка, в которой сидя дремлет Прокурор.*

*В палату, прижимая к груди бумажный пакет, входит Адвокат, берёт с койки пульт, делает звук телевизора громче и выгружает содержимое пакета на столик у окна.*

**ДИКТОР.** Сегодня в Королевском суде рассмотрят кассацию по самому громкому уголовному делу последнего десятилетия: народ против Жилия Готье. Напомним, что Готье, убийца и насильник, сбежал месяц назад из тюрьмы, где отбывал пожизненное заключение...

**ПРОКУРОР** (*проснувшись*). Я думал, ты там (*кивает на телевизор*).

**АДВОКАТ.** Там без меня знают, что делать. Что говорят врачи?

**ПРОКУРОР.** Протез готов, завтра примерка. Жизненно важные органы не пострадали, так что казнь этого ублюдка буду наблюдать в первых рядах.

**АДВОКАТ.** Держи карман шире.

**ПРОКУРОР.** То есть ты всё ещё надеешься, что приговор пересмотрят?

**АДВОКАТ.** Я это знаю.

**ПРОКУРОР** (*закатив глаза*). Хорошо, давай ещё раз. Первый раз ты его вытащил за недостатком улик, так?

**АДВОКАТ.** И присяжные были на моей стороне.

**ПРОКУРОР.** Да, ты их ловко обработал. Ты сам видел, чем это обернулось: Готье только раззадорился. За полгода — десять убийств.

**АДВОКАТ.** Семь. Неудавшиеся покушения на убийство мы не рассматриваем.

*Прокурор смотрит на АДВОКАТА с неприкрытой злостью.*

**ПРОКУРОР.** Он растерзал тех девочек! Одна выжила лишь потому, что Готье спугнула пьяная компания, а двух других вовремя нашли и доставили в госпиталь.

**АДВОКАТ.** Но они выжили.

**ПРОКУРОР.** И лежат в психиатрической клинике, две навсегда прикованы к постелям!

**АДВОКАТ.** Но они живы.

**ПРОКУРОР.** Чёрт с тобой: они живы! Мы железно доказали три убийства из семи. И все присяжные были уже на моей стороне, убудка приговорили к гильотинированию. Но ты сыграл на том, что оба эпизода случились в соседних префектурах, где смертная казнь запрещена, и Готье получил пожизненное. Ты помнишь, что тебе сказали родители тех девочек?

*Адвокат смотрит перед собой, в глазах слёзы.*

**АДВОКАТ** (*глотаю комоч, почти шёпотом*). Помню...

*Прокурор смущается.*

**ПРОКУРОР.** Извини, я не хотел так...

*Стук в дверь. Входит молодая женщина с фотокамерой.*

**ПРОКУРОР.** Вы кто? Кто вас сюда впустил?

**ЖЕНЩИНА.** Я из «Паблик трибьюн», вы мне на сегодня назначили.

**ПРОКУРОР.** А, чёрт...

**ЖЕНЩИНА** (*видит Адвоката*). Адвокат Кравчик?! Вас невозможно найти! Что вы думаете о сегодняшнем...

**ПРОКУРОР** (*Женщине*). Извините, что так вышло, но нашу встречу придётся перенести. Давайте через час, я буду в полном вашем...

**АДВОКАТ**. Не нужно ничего переносить, я не буду вам мешать.

*Адвокат собирается выйти.*

**ПРОКУРОР**. Каспар, остайся. (*Женщине*) Спрашивайте.

**ЖЕНЩИНА**. Господин прокурор, как вы оцениваете шансы Готье избежать смертной казни?

**ПРОКУРОР**. Мерзавец будет обезглавлен, двух мнений здесь быть не может.

**ЖЕНЩИНА** (*Адвокату*). А вы?

**АДВОКАТ**. Это невежливо, мадам: вы пришли к моему другу, а разговариваете со мной.

**ЖЕНЩИНА**. Но народ...

**АДВОКАТ** (*качая головой*). Мадам...

*Женщина вновь обращается к Прокурору.*

**ЖЕНЩИНА**. Вы можете поделиться подробностями нападения?

**ПРОКУРОР**. Как вы смеете?!

*Женщина, осекшись, смотрит на Адвоката. Тот спокоен.*

**АДВОКАТ**. Моя дочь отдала жизнь, чтобы спасти моего друга. Если вы хотите спросить о её последних минутах, я не возражаю.

**ПРОКУРОР** (*с явным неудовольствием*). Мы дружим с Каспаром очень давно — ещё со школы. Он — крёстный моих детей, я — крёстный его дочери. В тот день я подвозил Агнешку домой из балетного класса, мне было по пути. Готье уже следил за мной и напал, когда мы вышли из машины. Агнешка могла убежать, запереться в доме, но вместо этого она вызвала по телефону полицию. Готье бросил меня и набросился с ножом на неё.

**ЖЕНЩИНА** (*Адвокату*). Господин Кравчик, несмотря на это, именно ваша адвокатская контора защищала убийцу. И вы по прежнему настаиваете на отмене смертной казни по всей стране. Почему?

**ПРОКУРОР**. Я отвечаю за Каспара. Ему не позволяет профессиональная гордость. Подумайте, что скажут люди: ага, он оправдывал насильников и убийц, пока дело не коснулось его самого! Это было бы проявлением двойных стандартов, а наш Каспар не таков.

*У Прокурора на столе трезвонит телефон. Он снимает трубку.*

**ПРОКУРОР.** Что? Сейчас?!

*Прокурор включает телевизор. Пока говорит диктор, крупные планы Адвоката, Женщины, Прокурора.*

**ДИКТОР.** Только что сообщили о решении кассационной комиссии по делу Готье. Защита предоставила неопровержимое свидетельство того, что Готье является внучатым племянником покойного короля Густава Восьмого. Согласно основному закону, члены королевской фамилии до четвёртого колена не могут быть казнены, а помещаются в тюрьму закрытого типа Блэкуотер. Таким образом преступник уже в третий раз избегает смертной казни...

*Телевизор выключается. Женщина и Прокурор смотрят на Адвоката. Тот абсолютно спокоен.*

**ПРОКУРОР.** Мадам, будьте добры, оставьте нас.

*Женщина убегает.*

**ПРОКУРОР.** Ты знал.

**АДВОКАТ.** С самого первого дела.

**ПРОКУРОР.** Чего ты хотел этим добиться?! Тебя никто не поддержит! Все вокруг считают тебя чистоплюем, а после того, что ты не дал казнить убийцу собственной дочери...

**АДВОКАТ.** Дэниэл, ты прекрасно знаешь, что Готье не убивал Агнешку.

**ПРОКУРОР** *(с вызовом)*. Что?!

**АДВОКАТ.** Готье редкий мерзавец и чудовище и будет гореть в аду. Он виновен во всех смертных грехах, но не в смерти Агнешки.

**ПРОКУРОР.** Что ты несёшь?!

**АДВОКАТ.** Готье рассказал мне обо всех эпизодах. Даже о тех, которые ты не смог доказать. Даже о которых ты не знаешь, а они много хуже тех, что ты не смог доказать. Он обо- жает хвастаться. Но смерть Агнешки он за собой не признал.

**ПРОКУРОР.** И ты ему поверил?!

**АДВОКАТ.** Я лучше всех знаю почерк Готье. И меня очень удивило, зачем он отрубил тебе кисть руки. Вспороть тебе брюхо — это да, но руку зачем? Её ведь так и не обнаружили.

**ПРОКУРОР.** Этот гадёныш пожирает трофеи!

**АДВОКАТ.** Это вторая странность. От Агнешки он ничего не прихватил.

**ПРОКУРОР.** Он не успел — полиция была уже близко.

**АДВОКАТ.** Да, конечно. Но вот ещё странность — все удары Агнешке нанесены правой рукой, кроме одного, смертельного. Он нанесён левой.

**ПРОКУРОР.** Что ты хочешь сказать?

**АДВОКАТ.** Я уже говорю. Это ты убил мою дочь.

**ПРОКУРОР.** Каспар, ты в своём?..

**АДВОКАТ.** Я не знаю, как тебе удалось организовать его побег, следы ты замёл хорошо. Но Готье взяли полусонным в заброшенной халупе, где ты его и держал. Он ни на кого не нападал. Самое странное, что он был весь в твоей крови, а крови Агнешки на нём не было. Зато ты ей был замазан почти целиком.

**ПРОКУРОР.** Я пытался её спасти!

**АДВОКАТ.** Дэниэл, ты левша. Я не могу тебя ни в чём обвинить — у меня нет прямых доказательств. Косвенные я бы и сам в расчёт принимать не стал. Я хочу узнать только одно: она страдала?

**ПРОКУРОР.** Нет. Она даже не поняла, что случилось. Но рука сорвалась, и я порезался. Пришлось импровизировать. Помогли болеутоляющие — я почти не чувствовал боли, когда отрубил руку. Потрошить себя, правда, потом было неудобно, но я справился и с этим.

**АДВОКАТ.** И всё затем, чтобы я стал сторонником смертной казни?

**ПРОКУРОР.** Чудовищ нужно уничтожать, иначе они нанесут новый удар. И если ты этого не признаешь, получится, что Агнешка погибла зря!

**АДВОКАТ** *(тихо)*. Значит, ты теперь меня обвиняешь в её смерти?

**ПРОКУРОР.** А кого ещё?! Это ты вынудил меня пойти на крайние меры! Думаешь, что благородно поступил, оставив Готье в живых? Да тебя сейчас вся страна презирает! Ты проиграл, после этого случая казнь точно никто отменять не будет! Чего ради ты вступаешься за самых мерзких уродов, по которым гильотина плачет?

*С улицы слышится какой-то шум. Адвокат выглядывает в окно. С той стороны в стекло врезается гнилой помидор. Адвокат вздрагивает и отшатывается от окна.*

**ПРОКУРОР.** Что там?

**АДВОКАТ.** Там страна выражает своё недовольство моим поступком. Почти в твоих выражениях.

**ПРОКУРОР.** Зачем они сюда заявились?! Откуда они вообще узнали, что ты здесь?

**АДВОКАТ.** Очевидно, та фройляйн сообщила.

*Вновь звонит телефон. Прокурор снимает трубку. Передаёт её Адвокату. Адвокат слушает, потом говорит «хорошо» и кладёт трубку.*

**ПРОКУРОР.** Кто это?

**АДВОКАТ.** Коллега, спец по семейному праву. Сообщил, что моя жена подала на развод.

*Молчание. За окном шум, в окно врзается мусор, кидаемый снаружи.*

**ПРОКУРОР.** Признай, что ты был неправ.

**АДВОКАТ.** Видишь ли... я считаю, что смерть для убийцы — самый лёгкий уход. Я хочу, чтобы он испытывал муки совести.

**ПРОКУРОР.** Какая совесть у убийц?!

**АДВОКАТ.** Не знаю. Возможно, она спит. Но если долго сидеть в замкнутом помещении, больше не о чем будет думать, кроме как о содеянном. И тогда она проснётся. И мучения этих людей будут чудовищны.

**ПРОКУРОР.** Ты спятил! Нет совести, это химера. Наказание должно быть равным преступлению!

**АДВОКАТ.** Чем тогда мы будем отличаться от преступников?

**ПРОКУРОР.** Стой! Да, я преступник. Так покарай меня! Я не буду сопротивляться, я раскаиваюсь. Убей меня, я не буду сопротивляться.

**АДВОКАТ.** Если хочешь, можешь признаться. Я буду тебя защищать.

**ПРОКУРОР.** Чёрта с два! Как ты будешь жить, зная, что убийца твоей дочери свободен и не понесёт наказания?

**АДВОКАТ.** Я справлюсь, Дэниэл. А вот как с этим будешь жить ты?

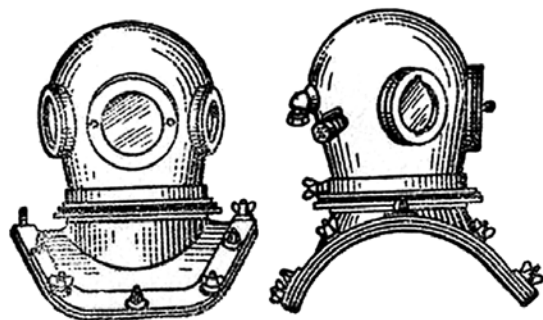
*Адвокат уходит. Вслед ему с улицы слышится улюлюканье и свист.*

**ПРОКУРОР** *(в сердцах плюёт)*. Слабак.

Конец.

Александр Самойлов

## Химия



\*\*\*

вот это многое другое  
которое обычно и  
которого когда приходишь  
обычно нет ни у кого  
а только взгляд  
и взгляд печальный  
в несуществующую даль

\*\*\*

я ничего не сделал сам  
во всем мне помогли  
а мог я что-то сделать сам  
наверное едва ли

не сам родился рос не сам  
не сам учился в школе  
умру наверняка не сам  
а только поневоле

скажи декабрь январь февраль  
вы все про это знали  
они ответят мне едва ль  
едва ль едва ль едва ли

\*\*\*

вида бомжеватого  
ни в чем не виноватого  
ангелы-охранники  
не пустили в рай

холодно на улочке  
 мамочка-мамулечка  
 мне через решеточку  
 весточку подай

\*\*\*

читаю антологию

родился печатался умер  
 родился умер печатался

а вот бы  
 родился родился родился

\*\*\*

на них не действует реклама  
 их не пугает страшный суд  
 короче им сказала мама  
 и выставила прямо в пруд

они идут и выше воды  
 они идут вот их рука  
 снимает с них закон природы  
 как будто нитку с пиджака

\*\*\*

купил натуральных продуктов  
 а они их не стали жрать  
 купил натуральных продуктов  
 а они их не стали жрать

нам не надо твоих продуктов  
 и мы их не станем жрать  
 нам не надо твоих продуктов  
 и мы их не станем жрать

потому что привыкли к химии  
 потому что привыкли к химии  
 потому что привыкли к химии  
 потому что привыкли к химии

\*\*\*

от ветра зашатался дом  
 ребенок за стеной заплакал  
 завывала надо мной собака  
 все это сбудется потом

здесь все украдено до нас  
 и мы стоим в обычном поле  
 так заведите песню что ли  
 и кто-то отвечает: щас

\*\*\*

ах если б все ради детей и б\*\*дей  
 я понял бы все и простил  
 вот снова уходит старик берендей  
 неся что осталось в горсти

как будто во прах обратились труды  
 как будто смущает покой  
 пронзительный свет незнакомой звезды  
 но нет там звезды никакой

\*\*\*

на почте спросили  
 конверт по россии?

ответил ну да  
 и зарыдал

\*\*\*

прислал письмо мне  
 сайт один  
 ты больше к нам  
 не приходи

нам не нужны  
 твои визиты  
 куда подальше-ка  
 иди ты



и я печален и растерян  
как будто век уж мой измерен  
а он измерен  
он измерен

\*\*\*

посмотри же не будь ты коровою  
фильм с участием дэвида боуи

да смотрю я фильм с дэвидом боуи  
но не перестаю быть коровою

вот ведь незадача!

\*\*\*

ты куда молодой человек  
никуда молодой человек  
в добрый путь молодой человек  
дык ото ж молодой человек

\*\*\*

в челябинске бухать не надо  
в челябинске и так бухой  
когда выходишь из горсада  
и только гор перед тобой

останься под последней кроной  
зашелестевшей как тетрадь  
ведь в ней сидит твоя ворона  
намереваясь все сказать

\*\*\*

что ни делает дурак  
все он делает ништяк

крутят пальцем у виска  
нет ума у дурака

вразумите дурака  
нам не надо ништяка

на него придет здоров  
скажет чо-та ништяков

чо-та много ништяков  
объясняйся кто таков

атеист? иль педераст?  
да еще по морде даст

\*\*\*

я рожден специально мертвым  
чтобы быть понятным всем  
чтоб орешек знаний твердый  
расколослся без проблем

что-то что-то означает —  
учит белочка бельчат  
ничего не отвечаю  
так как мертвые молчат

\*\*\*

хорошо жилось в советском союзе  
виктор цой не был распят на пивном пузе  
отовсюду не лыбились рожа егора летова  
не было этого этого и вот этого

\*\*\*

все-то у них ржач  
низкий видать ай-кью  
мама не плачь  
я вырасту всех убью

а от любви какой прок?  
да ладно. да брось  
только ненависть, сынок  
только злость

\*\*\*

во дворе радуется детвора  
дядя куку будет варить  
кашу из топора

дядя куку стоит бухой  
сталин принял его с сохой  
и оставил его с сохой

дядя куку делает как сказал  
в правой руке у него топор  
а в левой казан

дядя куку глядит  
и его разбирает смех  
он пришел накормить всех  
и он накормит всех

по эту сторону те кто хочет пожрать  
по ту – кто пожить  
и только попробуй сказать  
хватит варить

\*\*\*

тетрадь для записи стихов  
тетрадь для записи расходов  
и неживого небосвода  
и так далее

\*\*\*

мужчина двадцать пять лет в браке  
смотрит последнюю часть чужого  
типа такой ридли  
покажи мне чего такого

типа такой ридли  
у тебя всегда побеждают бабы  
но сегодня суббота ридли  
хотя бы сегодня хотя бы

\*\*\*

сегодня со мной произошел  
вот какой случай  
ради того чтобы здоровье  
было получше  
я гулял в лесопарке  
сообразно своему чину  
и вдруг белочка побежала за мной  
и прыгнула мне на штанину

она замерла  
где-то в районе коленки  
и космический холод и мрак  
посмотрели на меня  
через ее зенки  
ее организму понятно  
требовались какие-нибудь орехи на ужин  
еда единственный способ унять  
метафизический ужас

но у меня как на грех  
не было никаких орехов  
и метафизическому ужасу  
я противостоял  
без особых успехов  
поэтому я до сих пор стою там  
между июнем и маем  
а кто это все сочиняет  
не знаю

\*\*\*

лети смотри в окошечко  
не думай ни о чем  
и крошечка-хаврошечка  
возникнет за плечом

за левым или правым  
ведь все уже равно  
на гибель или славу  
ведь все уже равно

но ты мудришь я знаю  
ты все-таки мудришь  
ах пчелочка золотая  
недаром ты жуужишь

\*\*\*

двери не закрою я на ключ  
чтобы в дверь смогли войти друзья  
чтобы позвонить смогли друзья  
телефон не буду я отключ

ты наверно бредишь или спишь  
о каких друзьях ты говоришь

\*\*\*

такие времена  
что лишь стихи  
можно читать  
и то немного

одно стихотворение в неделю  
и довольно

слышишь там  
на улице  
какое-то ночное бормотанье  
какой-то ропот  
женщина вдруг крикнет: коля!  
и снова  
быр-быр-быр

не знаю  
что там происходит  
что стало с колей  
не узнаю никогда

\*\*\*

скажи что это гениально  
о чем-нибудь моем скажи  
до звездной полночи до самой

\*\*\*

пусть этой ночью дождь пойдет  
и пусть всю ночь идет идет  
в своем движении похож  
на жизнь которую живешь

пусть так же прекратится он  
когда не нужен станет он  
и ты на черном этаже  
заснешь уже

\*\*\*

сумасшедший на свидании с природой  
ходит и в ладошку ухмыляется  
на пути между мужским и средним родом  
между все труднее проявляется

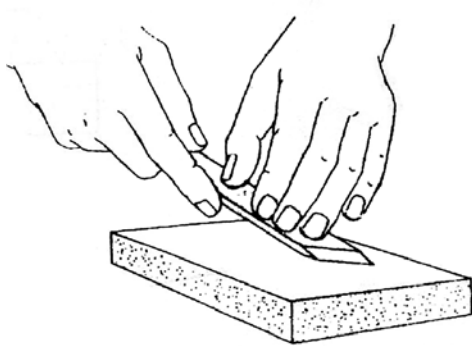
это (дерево) похоже на жонглера  
это (гриб) как ангелочек голенький  
эти (белки) настоящие уморы  
это (что?) прости-прощай николенька

\*\*\*

в составе делегации российских писателей  
прибыл на марс  
благополучно  
предстоит очень много работы  
потерпите пока на земле  
без нас  
вашей боли  
совести  
остроумия

Кирилл Азерный

## Светлое кладбище



**М**не вчера сказалося, и я оброс уже без всякой необходимости и лицом, и лишними двумя руками, что всё, но ничего, и что нам позволено работать без всякой надобности и надежды, и не менее тем (я договаривал за говорящим, как если бы доедал за ним обед беседы), мы можем работать и дальше — как входная лампа в коридоре (мое конфиденциальное сравнение), и действительно — сапоги... подумал тогда и теперь думаю, что это ловушка и нас все-таки убьют. Только как и за что — еще никому не известно, а впрочем — кофейня, и пока я здесь, мне не несут чая, и я говорю так, как если бы. Дальнейшее — мрак, но и он не то, что я думаю, и он — ожидание, не менее беспочвенное. Я бы взял черный, как маска, свет у холодного гладкого стола,

за которым сижу, и сказал бы, что подобное вполне сносно отражает мое забытое лицо, но не отразит глаз, если за них все-ррез возьмется опытный ювелир, знаменитый вещами, равных которым я никогда не видел. Еще возможна бывает змея-медянка, зримая в траве, но разве смотришь ей вслед, когда висит в голове небо, и сапоги по размеру друг другу, и свет заимствован из коридорного окна, где я стою, и понимаю, что нечто не забыто, а никогда не было известно, а это я еще даже не выходил из комнаты. Б — всегда рядом, как родинка назначения, орден за заслуги перед орденами — теми, что предшествуют, и идут вслед тому выбранному, который и есть одиночество. Соседней дорогой, я шел сегодня домой, чтобы не поймать себя на привычности и не

войти с собой в столкновение в тех местах, где особенно темно и не разглядеть дорожных знаков отличия, я видел свежую краску на новых скамейках, а также двух или трех людей — взаимных незнакомцев, но от меня равноудалены так же, как если бы были супругами. Я в очередной раз подумал о том, как чуждость сочетается чуждостью, как все это ни на шаг не приближает меня ни к тому, ни к другому, и еще — о старости, главном источнике новизны для меня в последние годы. Если я протягиваю руку к пальто и теряюсь, как у Леонтьева, в поисках шапки, то кто, кроме зеркала, скажет мне о том, что она на мне — и оно то же, и так же пахнет бемолью, как прошлый год, от которого осталась, как заколка, звук трубы, и я выхожу всегда посередине представления, до того, как взойдет орган, и все будет забыто. Так хорош вечер, когда ты медлишь в прихожей перед тем, как выйти на свежую приветливую улицу, и все уже в ней, как искомое, заключено, и ты одет по погоде случая. Но что тогда — взлом, хозяйский жест медвежатника, знающего чужое дело, и то, что бежать придется через окно, о котором лишь то известно, что возле него цветок, что, по правде, настолько же характерно для квартиры, насколько характерна для знака мертвенная его бледность (которая трижды возвращается в дом отчий, отчего дома все слуги и родители решают поставить ребром вопрос о бледности (гостя), и я ухожу), и что тогда — побег? Я слышу этот поворот булавок, и максимальное ожидание поднимается во мне волной готовности, однако это заходит Нэлли — спросить, скоро ли я присоединюсь к ней и вам обоим, которых я тогда знал немногим хуже, чем сейчас. Я ответил ей тогда, что научен опытом печали и что тем не менее присоединюсь к вам. Это звучало тогда почти так же, как сейчас, и только в зеркале не отражается бытие прошлого, что сразу и отражает его зеркальность и разводит ее в тумане будущего — таком же подозреваемом, как подающий тебе бокал, на дне которого — осадок, и все, что над — только его предтеча, и ты берешь прибор, чтобы размешать. Что такое на самом деле

побег из родного дома, как не отказ претерпевать все его переменные точки — может быть, дальняя завтра прикипит с нежностью, и не отодрать, как если бы и та, как эта, была морщиной. Но — успеть отказать в соприродности, отказать самому, сказать, что не было, вот задача задач. Себя разоблачить в равнодушии, как если бы было что-то иное, чем можно было бы вполне увлечься, но и там найдет тебя то непризнанное, что даже не ищет тебя, но тобой находится. С тех пор (незапамятных) только внутрь себя растет речь — как растут мертвые и само забвение.

Вы уже говорили... в том смысле, что я помню. Вы говорили о том, как вошли в квартиру и спросили себя, что было вами забыто — и ничего мне не ответили, хотя это был мой вопрос, мой... оставьте мне хотя бы вопросы (список оных прилагается к ученической повседневности, и, обращенный ко мне затылком, предполагает молчание, и спасение — в считанной сороке секунды, держащей во рту часы с уверенностью маркера, или запросто — вертикальный час дня, затопленный апрель с остроухой верхушкой птиц) — я задался вопросом, и он приписывает меня теперь к любой поверхности дневных ухищрений, норовящих вытащить из забытых карманов всё то, до чего не, но когда и того нет... чем бывает жив день, взошедший над мертвыми? Наблюдение обещает участие. Но не сегодня, а вечером — когда казнимые прогорят и зола разовьется.

Макс, зачем вам тогда вопросы, если вы довольствуетесь этими риторическими пожизненными заключениями (в некоторых странах приговоренным к пожизненному даруется бессмертие), я прав, когда сомневаюсь в вашей способности поставить вопрос ровно? Я говорил о том, что ничего не было мною забыто в момент отправления из дома — тогда, давно, и с чего бы мне, впрочем, помнить те неотличимые дни счастья, слипшиеся теперь в одном сладком бреду, как мотыльки? И главное — это расстояние протянутой тайны, связывающей их так, как не связала бы явь — дистанция сна, пересказанного мимоходом, мимоходом же прекращенного, перекрашенного в цвета

цветов. Ошибкой ли будет ждать чего-то еще? Дополнительного света — скажем, коридорной лампы, полуоставленной в покоех дня, или иной мысли, растворившей окно не за светом, но — за птицей, в перевалку перешагивающей окно и минующей мысль. Как удастся ей это минование — в такой стройности, какая дается только отдалением (только медленным сворачиванием деталей, странствием в поисках лица)?

Вы ли не говорили мне, что не отличите вороны от сороки? Что отдаленная разница точнее приблизительной, врезающейся в упор. Это уже не вопрос, потому как — что делать с бардаком, когда приходится держать в голове расположение предметов? Было ли когда-нибудь так, чтобы они все стояли на их местах? Их перестановка бесследна, а карта рисует какие-то иные края — ее пути походят на морщины составленного в редакторе человека — красивого, как никогда. Вообще, мало что на свете есть подобного нигде. В нее переименовывается все, чему не достается, и она остается, так или иначе, следующей модой восприятия — что она чувствует, лишенная ломотьев лиственниц, про которые вы тоже говорили, как они пронзительно обнажены (в вашем воображении) — как никогда.

Как сейчас? В этом сочетании звуков уже самым звучит чай — правда, речь о другом, а именно — о его прозрачных листьях, как если бы было при этом не то, и не о том, а по ту сторону шла речь, но ниоткуда больше, кроме как сквозь эти пойманные руки, протянутые земле. Такая себе печать печати (обозначение брака), я узнаю это, но ударения молчат, как если бы медленно красили белой краской твое горизонтальное — лежбище бога, шов ровный, корабль потонул. Как уют, говорят. Гладкая ведь поверхность — море, и только. Труднее всего создать из ничего простоту, освободить ее от тяжестей кажущегося и сказавшегося на том, что вне нее действительно, и множится, удаляясь от нее в стремлении ее достигнуть. Вот возмущение этой сложностью и тяжестью приподнимает меня над небом (просто слегка ослабела нить горизонта,

ничего), а вот я уже стыжусь этого возмущения, и меня переполняет жалость к этой сложности — как бывает в часы перелета, когда оставил землю, и она в памяти так разнообразна, что чудом помещается в горсти. Один тогда способ вернуть себе окружившее небо — злость на то, что успело просочиться сквозь твои пальцы еще до того, как ты оставил все, к чему имеешь отношение. Как — и кому — все это сказать и о чем? О том, что уже не знаешь, к кому из двоих обратиться за прощением — за простотой или за сложностью? Сложность — воровство, но простота хуже. Недавно откопал в пейзаже сороку, прилегающую к воронке гнезда чей-то опавший орден, и мое зрение попало само в сто ловушек осени — пряным медведем, вломившимся в сто ее домов. Таким и выглядит монотонный пряник, высушенной мной на кафедральных кухнях, фамильярных поверхностях автоматов, предложенных развернутым затылком.

Я помню, как вы однажды во время лекции вылезли прямо в окно. Это воспоминание должно подтвердить мое присутствие на ваших лекциях — хотя бы одно из них. Ваша речь все менее отчетливо выделялась на фоне ничем не перебиваемого города (который и есть — звук, за которым), и все начали доставать пособие за пособием, и только я знал, что вы идете домой — только мне было известно, что на журнальном столе у вас выпуклая пепельница, лишенная завершительных черт. Ни одно пособие не помогло им на вашем экзамене, и мне тоже не помогает наше с вами знакомство — его всегда недостаточно, чтобы я смог ответить. Но, может быть, кому-то другому я мог бы ответить о вас?

Кто бы вас спросил, извините? Кому я могу быть интересен? Дело не во мне, и не в вас, и не в Артуре, и не в Нэлли (архив исчерпан), но, может быть, в том, кто задает вопросительную интонацию всему, что казалось нам утвержденным. Это внутри него помещен огонь вопроса, сжигающий все, что попадает в него. Ощущает ли он тщетность горения? Не думаю. Ведь не в вопросе дело, а в нем — в его угольной рамке, его огра-

ненном достоинстве, широте его взглядов. Теперь я могу сказать, почему я ушел тогда с концерта: орган напомнил мне о камине, и во весь рост выросшее сравнение показало мне в свернутом виде все, что меня когда-то касалось, и чего я уже не коснусь. Выглядело это так, будто по плечу меня потрепал человек, знакомством которого я бы пренебрег, хотя на самом деле с тем человеком у меня сносные отношения взаимного безразличия (в университете нас многие даже путают), и он, я уверен, потрепал меня потому лишь, что был уверен — в тяжелеющей гуще разносторонних зевак я узнал его.

С этим засвеченным фантиком уже ничего не сделать — он не желает сгорать в уголках собственного блеска, и его остается только растянуть до той самой бесконечности, про которую говорят, что она — во мгновении, единичном сокрытии глаз, и если оставить их полуоткрытыми, как дверь в спальню или прихожую, то она может уйти туда (или оттуда). Мне казалось в детстве, что взрослые гости с особенной тщательностью берегут меня по ту сторону полуоткрытой двери — в самих складках одежды, обозначающих перебиваемую тень, отчего она никогда не может произнести своей выученной фразы, что ничего не меняет в конечном счете (ибо фраза придумана не ею), но все ставит на его места, на том оно и держится, на недосказанности. Верите или нет, но нам с вами в детстве мешала и помогала спать одна и та же луна, но стоит сцене усложниться, как мы выясним, что разная тень пугала и успокаивала нас во время своего шевеления во сне. Стоит придраться к треснувшему, как яичная скорлупа, потолку, и выяснится, что и этого мало, и надобно предполагать длительное подобие, которое лишь поутру оказывается завершено. Все хитрость лишь в том, чтобы чуточку перебороть в бодрствовании сказочника — только это оказывается невозможным: стоит, подобно сомкнутым в молитве дверям, раздаться сопению, как в ход вступают окружающие образы предметов, изобличающие речь сказочника в подлинности. С раннего детства я выучил неразличимость птиц: не под-

няться этому авианосцу ни на какую высоту, как некогда поезду не удавалось доехать до следующей идентичной станции, потому что все забегали и забегали в него провожатые. С каждым провожатым пассажиров становилось все больше, и только я видел надо всем этим небо — в отсутствии окна, и оно являло мне нечто иное, подобное примерности платья, удвоенного в примерочной до подходящей единичному случаю формы. Как она узнавала, что платье ей не подходит? Не иначе как женская интуиция. Она выходила из примерочной, смеясь и глядя на меня, как бы в новом платье не узнавая — что со мной успело произойти за пять (пятнадцать) минут в открытом мире, пока она исчезала и возрождалась в примерочной?

Вы настаиваете на этом слове — примерочная? Она для меня ассоциируется со светлеющим уравнением, не способным до конца утвердиться в своей дифференциальности. Где причина, ставшая зеркалом? Не удивляйтесь тому, что оно выплыло вне вашей «примерочной» — я предупредил вас о ненадежности, о неточности приведенного вами. Между тем у вас на галстук галстук.

Между галстуками? Все кажется ведь, что между ними — нагота, обнародованная для расстрела. Сколько фамильярности в этом представлении, что у человека есть сердце, которое можно остановить, но оно всегда подтверждается. Одно спасает (от чего?) — мне кажется, что пуля и голова все же являются решениями разных проблем, а не одной и той же. Тем не менее проблемы эти пересекаются... а впрочем, не является ли нам зрение предупреждающей ловкостью, застывшей на высоте памяти, забывшим о предупреждении (не его ведь оно касается), выпавшим из головы? Темнеет, видите? Впрочем, я прочитал где-то, что ночь — это только смена дневного света ночным. Не уверен, правда — может быть, я просто не сумел в темноте разглядеть точный смысл фразы. Это прилагается и к слову о наготе, которая в эротическом смысле — ночь, а вовсе не та снежная белизна, которой обита плоть приговоренного к обморожению. Как внутри этого зарождается

отрицание белизны белизной, как синева рук отрекается от небесной синевы — это тема для отдельного отдела, занимающегося вопросом фотографической выдержки и памяти. Или, если человек полностью сливается с фетишем (который один и выживает в морозах, когда сигнальные отношения между кораблем и уснувшим городом веселят маячного зрителя), возникает спотыкание — взгляда, но не танка, профилем бороздящего свернутое в конверт время. Все годы, пока идет письмо, сжаты в нем на манер сомкнутых рук, но в глазок не видно — два ли это человека или один изображает замочек, нам предоставляя скважину. Значит ли это, что мы — второй, что кто-то еще со мною в камере занимает время — и место — тем, что продолжает молчать, не выдавая подробности своей частной жизни?

Если бы вы знали, какое в той осени было молчание! Как мне передать его без того, чтобы не впасть в иное — в молчание, например, зимы, когда снег подает хриплый голос — как бы чудак, на томном собрании отметивший некую сугубую частность, неуместную в этом молочном томлении, даже когда специальные люди задернули от пущего солнца шторы и вышли за двери (смеяться). Только источник меркнет — свет остается (светом?). Может быть, замечание и дельное, но относится к тем, другим, не нуждающимся в замечании. Достойно ли я тогда выглядел, лишенный голоса, когда проснулся, осознав, что рядом кто-то еще — неподдельный, как сама смерть, сон, пробудивший меня в согласованное пространство, навсегда утратившее свойство быть моим — но еще стояла в глубине стола полупрозрачная ложка, полупроглоченная стаканом, и уже остывал чай стыда, и я все не мог вспомнить всего того, что теперь само стало моей памятью — сказанных накануне слов, в которых не было и тени прощания, и только перед лицом прошлого, открытым мне, как лицо самой смерти, я могу зачитать этот список примет (скользящая вдоль шелка неостановимая коряга, выглянувшая со дна без всякой связи с теми деталями, которые не нарочно сокрыты от глаз) — короткий

список примет, по которым узнается спина уходящего человека, чьего лица как будто и не помнишь. Связанные любовью слова стали для меня местами паломничества — к подобным камням приходят за советами люди (жена, сын, турист), душе полагается перебирать их в лучезарном рту (приятный аналог сизифовых потуг) — и перепоручить их произнесению чему-то, предназначенному услышать, кто всегда довольствуется этой ложке спаиваемой блажью. Как все это сказать таким образом, чтобы не ранить человеческих чувств, принадлежащих к тому же тому, кто утратил все остальные и для кого нет возможности сбыть их в траченом магазине примет? Все это похоже на те тщетные старания, которые прикладываются к избавлению от краденого — не отсюда ли и стыд, пришедший вместе с ночными следами, не от ощущения ли того, что взято чужое, и даже не по ошибке, а по какому-то смутному умыслу, далекому от дали, с которой срабатывает умысел другой, заключающий нас в свой круг несоответствия, запирающий нас снаружи (тем самым лишь с пущей уверенностью определяя и до того бывшее наше положение)? С другой же стороны — что нам еще дается в жизни, кроме чужого? Я думаю о ней, проснувшейся с полуденной гладкостью (по ней она и соскользнет очень скоро в шумное небытие), и о том, из каких областей знания ко мне пришло чувство старинного, как отцовская ладанка, знакомства с этой (уже той) женщиной, и в чем его разница от простого воспоминания о знакомстве, не требующего той тяжести, той слабости, которая тянула меня к ней, как к земле. Проще всего было бы указать на место и время, где впервые произошло со вмещение ее черт, позднее лишь все более уточнявшихся в том роковом значении, какое осуществляется в случае полностью состоявшейся влюбленности. Это чувство, с которым она брала на колени тяжелую книгу со слепыми словами и передавала мне без всякой надежды на то, чтобы сохранить целостность жеста, не выйти за пределы камерности и согнутого в уголках поля зрения, принадлежащего лампе, которую вижу я, но



которой она не видит (на самом деле этот резной прямоугольник менее всего напоминает поле, а напоминает как раз резной прямоугольник, для сравнительной двойственности которого оказывается довольно темноты, содержащейся внутри самой его природы — не сродни тем темнотам, что возникают из теней, званых сравнениями. От того и фамильярность любого подобия — от представления о неизбежном раскладывании ножа на составные фигуры — пока под потолок не взлетит серафим), как сейчас говорят, храня про себя преходящее значение поступающего, непередаваемо, как сама книга, как поставленный на этом жесте крест — напоминание о вчерашнем дне, и том, что чему-то не было предано значения, хотя при мысли об этом закономерен протест: что сделало мое прошлое для того, чтобы выказать потребность значения? Оккупированная моим обиходом (особенно в тот дачный вечер был хорош графин, подаваемый всеми усилиями осени в качестве полноты картины) и вода в нем, иначе что так до неузнаваемости узнаваемо, как безвременная ночнушка, мятая, как бумага, она претендовала на ту единственную твердость, которая хранится на выходе из обихода. Именно в тот проведенный с ней вечер я понял бывшее мое отчуждение от окружавшей меня мебели, и что только теперь она отпускает мне мой грех непричастности, вступая в круг моей жизни. Может быть, дело было в относительной темноте, возносящей, как известно, свет на те или иные возвышенности — отсюда и берет начало (и находит конец) крупная холмистость вечерних часов. Откуда в таких крашенных гробницах явиться мягкости — и откуда явилась она, не оскорбив траура, поднятого над днем? Ее слепое хозяйничанье в моем доме казалось мне простым передвижением, и предметы только следовали за ней, на свой лад запоминая каждый из ее поворотов, и ни чайник, ни кружка не возвращались из путешествия без привносимой новизны, которая одна и есть новизна, потому что я уже знал тогда, развалины вечны, и вечность — развалина. После ее ухода я не мог вспомнить, где

стояла моделька идущего ко дну корабля (на позорной пластиковой подставке, безобразно удлиняющей корабль). Окно не тает в своей значительности даже когда в нем исчезает человек, казавшийся, пока не исчез, тем самым гвоздем, на котором и держится окно. Так он возвращает тебе, уходя, настоящий гвоздь, онемевший в кармане в общем безмолвии, я не могу его там найти. Мы с ней тогда договорились застрелиться от невозможности любить друг друга вечно (невозможность оказалась чистой правдой), и судьба наделила меня увесистым ружьем, которое перевешивало любые причины не стрелять из него (вам обоим кажется, что это юмор заднего ума, но вы ошибаетесь — уже тогда было смешно, даже смешнее было тогда, скажу в оправдание). Ружье предшествовало любви. Как легко дается подобное предшествование! Напоминает факт моего младенческого крещения, заключенный в двух одинаковых арках, сквозь которые я был пронесен обратно к безглазой модельной маме. Подобное возвращение скорее воздвигает мембрану между событиями, мягко отлучая от любой попытки преодолеть ее, ибо она состоит из самой материи памяти (обыкновенно — отбойного молотка, и в минуты досуга — лист). Я до сих пор целюсь в нее сквозь ту же единственную мембрану, и вот я, кажется (шепчется коридор), старше старьевщика, а она все так же без неприязни смотрит на меня — такая же молодая до невероятия. Я медлю...

Но в случае выстрела двойственность (или взаимность, если хотите) будет нарушена тем, что только один выстрел будет слышен. Но если — двустволка? Наложение лжи на ложь, совет перебиваемых согласий, сговор смертника с глупостью судий и присяжных (мне одному присяжные все до одного представляются средневозрастными завсегдаями спортзала?). Я думаю, вы больше всего боитесь этого — что в воздухе вставший во весь цветаевский рост механический окрик выгнется в вопросительную дугу, и выпрямить его вам не хватит того света. Кто перебьет этот хор одобрения, перемоловший имя в сплошную хлебную белизну — уже

нарастает поверх него корка, но хрустит пока еще только снег под пальцами. Дерево слезает с места вместе с птицей, и птица с деревом — в новой уверенности подъема, на новую высоту причинности — если есть такая высота, которая покрывает собой предшествующую как низость, или хуже — незначительность, растительное существование. Так в нашем понимании соотносятся первый выстрел и второй — точка А и точка Б, состоящие в движении к точке, где приходится выбирать язык, на котором ты говоришь. Не они ли это — гумилевский колпак? Бывают и не такие совпадения. Например, однажды мне пришлось на ум ровно то, о чем потом будет говорить мне книга — безымянная теперь, но тогда — о чем речь, или откуда она, и куда ее сдать, если давит долг перед всеми заглядывающими через плечо расписавшимися. Слепые, просвечивают буквы. При слишком ярком свете я отложил книгу до вечера, и выглянул в окно спальни: там все совпадало с моими мыслями — видно, недостаточно глубокими, так что последняя страница просвета и была видом окна, непрерывным напоминанием о том, что собою прошивает в своей повседневности свет. Меня настиг дверной звонок — в моем домашнем состоянии, и я поспешил открыть дверь полузнакомому человеку, который спросил меня, проживаю ли я здесь. Я ответил ему, что да, и, узнав, он растворился за дверью, но разве я это видел? Не презумпция ли это? Когда я снова взял в руки ту книгу, то так и не смог найти место, на котором остановил чтение, — подобие слов было совершенным, скольжение фасада — неостановимым. В один из подобных дней я сам выскользнул из своего подобия, оставив ряд нетронутым, — пусть другая армия подобий сливается с ним в равном насилии над кем-то другим, потому что я сумел спастись из этой крошечной детали, соприкасающихся с собой взятыми в кругосветное странствие цветными тенями, но я смотрел на себя в зеркало перед отраженным выходом на улицу, и видел попадания пуговиц на застегиваемом пиджаке. На следующий день, — в том же самом, уже несколько взлохмоченным, костюме, — я

отправляюсь на встречу с Нэлли, но, может быть, этот день искусственно приближен к предыдущему, как приближается бумага к огню. Тогда — который из них бумага?

Что, если я могу сказать тебе только, который из них — огонь? Или — об огне в его свободном плавании, огне в поисках Диогена (условного — в реальности им будет Джордано Бруно)? Манус расскажет теперь тебе другую историю из своей полной молодости, и, зацепившись за какую-нибудь расходную деталь, какую-то оптовую гайку сердца, ты выяснишь, что она — та же самая, одна из множества. Он всем это рассказывает — ты не один. В этом и есть смысл каждой из его одинаковых историй — «ты не один» Думаешь, ты один такой? Я сразу понял, когда ты пришел, что ты уйдешь раньше, чем произойдет нечто более значительное, чем твой приход. Тут, правда, надо отдать должное — твое исчезновение оказалось куда значительней твоего появления... правда, растянутость его во времени, растворение тебя в узком, казалось бы, выходе, принятом тобой за туалет, — все это превращало твой уход в отсрочку, как бы постепенно отпадали от тебя приспособления, которыми ты держишься на плаву истории — все эти руки, ноги, голова, туловище, шесть пуговиц... правильно я перечисляю?

Как видите, Манус, наше знакомство с Артуром имело вполне тривиальный характер. Не было никакого, если хотите, умысла, кроме самого дальнего — разминуться в случае непреднамеренной встречи, состоишь она в небесных анналах под рассеянные раскаты барабанных мембран. Что же касается Нэлли, то этим был мой указательный палец, проводящий как бы самую первую границу между ее сведенными лопатками — в тот самый момент, когда сошлись наши с Артуром косые взгляды перед тем, как вся айвазовская машинерия рухнула под общей тяжестью сговорившихся ветра и паруса — еще меркнувшего в темнотах, как сейчас — Нэлин простуженный нос, овеваемый неслышным запахом розы.

Но прежде, чем Макс запнется о следующую рифму, я поспешу доложить вам

следующее: в первую очередь я посмотрел в окно — чтобы увидеть примерно такую же группу не молодеющих уже людей, раскинувших вокруг себя, как детские крылья, фигурки «Монополии» красного и зеленого цвета. Откуда Максу знать, что я вышел именно за туалетом, а не за выходом? Мне отвратительна инфантильность так названных «арт-кофеен» — их стоялый холод, выросший, как плесень, благодаря какому-нибудь сломанному в вонючей пустой комнате окну, и входимым людям, чьи беглые отличия сводимы к бледному знаменателю молодости. Кто цепляется за мою прошедшую воду глаз одежду, недостаточно точную для попадания в ускользящего сезонного типа — сквозного манекена, стоячего, как вода в глазах? Может быть, все, происходящее в поле зрения — только подступающие слезы, и ничего больше. И я кажусь себе ожидающим в полуосвещенной комнате — чего? Большого дома, чья вторая половина погружена в ночь, как знаменитая лермонтовская полумаска, связанная гладко с глазками, как в тихом неравном браке, внутри которого комната, разделенная между спальным мужем и кухонной женой, переходит по наследству от света к тьме. Как бы не разбудить его? И потом — как бы разбудить?

Ключ — в сослагательности. Мне на ум уже приходит светлое до полного обесцвечивания утро, распыляющее дары дня даже после восхождения последнего на подмости — с забытой речью и пустыми карманами, зато глаза, заимствованные у публики (два студента и журналист), как бы простуженные ожиданием. Позже он будет скрываться в толпе в попытках вернуть себе хотя бы часть розданного утром, а вечером поймет, что ему нечего передать. Но у вечера уже другие сувениры... вообще мне не очень легко дается эта закатившаяся за спину округлость суток, и чем дальше, тем плоше, как говорится. Передо мной, что называется, стелется и стелется скатерть, как сейчас говорят, пробников — крохотных порций всего, что только можно вообразить (и воображение вступает в новую силу, как бы подсвечивая предмет изнутри, не касаясь

больше его контуров и используя только его прирожденные краски) — и плоскость этой скатерти, кажется, напрямую связана с этой невозможностью чего бы то ни было повториться, отразиться в чем бы то ни было зеркале, засвидетельствовать почтение памяти. Это молчание материи — оно не от учтивости... и этот свет — не лицемерие прохожего утешителя. Все по-настоящему, и именно поэтому не спится. Я знаю, что такое невозможность уснуть при свете памяти. Откуда он берется и что освещает? Не кажется ли мне, что свет, исходящий от этих предметов, охраняет только их же самих — только форму, ставшую им могилой? И долго ли сгорбленный вопросительный знак будет защищать меня от этого знания, которое уже становится мною. Я вижу скупой переезд дребезжащей мебели и дирижирующую вдову, как бы подготавливающую пространство для прогулочного эха, изначальной, а не задним числом утвержденной, двойственности, которая подготовила ее приход и которая после ее ухода возобновится, как возобновляется безучастность лица, когда произнесено уже имя, и к нему не приложился человек, как прилагается к письму слово о любви. Но ведь должна же быть в этом втором выражении лица хотя бы тень разочарования? Или другая тень — какой-нибудь светлой горы, отмеченной на карте настойчивой точкой, тень, наложенная на лицо, которое, если убрать тень, стало бы слишком внушительным обобщением. Сто раз бывало так, что лицо, наделившееся сквозными признаками определенности, не сужало, а расширяло круг обобщения, мягко заключающий тебя в него, как другая сила. И тогда предъявляющий, пытавшийся поставить тебя перед тупиком незнакомства и незнания, сам тушется, сам возвращается в неопределенность, которая на самом деле является первым шагом к небытию, а не к бытию.

Манус сказал все, что имел в виду. Многое из сказанного им было известно — и, однако, субъект традиционно вызывается на бис из любого жизненного тупика — будь то знакомство или незнание, тут уж как повезет. Перекатывающийся же предикат

всегда нов, как само предательство. Слишком сильное слово, вы полагаете? Но коренная ошибка в том, что на предикат из каких-то провинциальных представлений налагаются свойства субъекта, его ответственность субъекту — ничем не обусловленная фамильярность! Я так скажу: нет. Нечего сказать о том, что не имеет к субъекту отношения. И остается быть благодарными за ту непрерывную фрустрацию, которой нас снисходительно наделяет следствие, которому не лень раз за разом опровергать твои и мои предрассудки.

Что, однако, если такого рода опровержение само является предикатом, что, если таковой сценарий — один из верных (я не говорю — единственный)? Подобно тому, как (уже потолок, не пускающий относительно оговорку в недружелюбное небо) больной в горячке осознает только присутствие женской фигуры рядом со своей незнакомой постелью, не зная, кто это — мать или жена, присутствие, равное его существованию. И — в мягкой версии, уход ко сну, возвращение в сон, и на фоне ночи, ничем не оправдавшей ожидания темноты, темный женский профиль. Таков ли предикат? Смерть — скажешь ты, и не будешь прав. У смерти юридическое лицо.

Значит ли, что она вопросительна? Я бы, все же, не включал света. Как бы ни хотелось мне узнать в эту растянутую, как нота, минуточку, кто из вас говорит со мной (и я ли — тот, с кем вы говорите). Вы говорите по очереди, это правда — поочередно сдаете друг друга, как дурные карты, но голос выдает лишь говорящего. Поправка — из сказанного им было известно все — за исключением подступов к предикату, которые я не нарочно сделал крутыми, крутыми до невозможности. Я смотрю на эти скалы и понимаю, что по ним не добраться до вершины. С другой стороны, кто придумал назвать вершиной этот постыдный привал с видом на близорукую низину и канцелярскую печать солнца — все это годно лишь для пропахших домашней тварью открыток, которыми откупаются от любопытства, но больше — от тупой беспредметной тоски. Вот мне доходит эта от-

крытка, и я знаю магазин, где была она куплена. Это уже что-то — чаще всего таковых лавок не счесть, как будто прошлись метлой избытия по городу, в котором я умру. Тогда (как если бы медленно подносимый к воде палец касался ледной корки и разрушал ее) поиск нужной открытки (уже помеченной необратимостью) напоминал бы нахождение включенной лампочки в полуденный день. Кому посреди дня мешает спать эта лампочка, почему я должен ее выключать, если мне без нее не видно страниц приглушенной дневной жалобы, которая всегда — и написанное, и прочитанное причитание о свете ином, нежели общая милость солнца? Как в том анекдоте (услышанном, кажется, в том же дневном краю) — о двойном, поочередно тухнущем и гаснущим, свете. Ощущение такое (а я не вижу — за спиной тайна, а впереди — стена), что меня просят подписать собственное прошение, но я не могу. Кажется (прячусь я — за неочевидность виданного и неочевидность невидимого), я видел сон об этом — о том, что не могу подписать собственного прошения и что испытываю некоторое давление по этому поводу. Как если бы все, воображаю я (сон уже кончился), зависело от этой подписи, включая само существование фамилии, скрытой за ней, как за поставленной ширмой скрывается всегда предполагаемая нагота, которую никогда не удастся угадать (еще реже — проверить догадку). Подпись удостоверяет себя сама, подобно голосу. Для нее мне теперь не хватает ни света, ни чернил. С чего бы начать, в этом случае? С двух или трех лишенных корней деревьев, бесшумно шевелящихся налегке, как в недалеком плавании, а между ними — десятилетия, затапливающие их так же равнодушно, как вода затапливает корабль. Это равнодушие взаимно. И вот теперь меня просят расписаться в этой безучастности, но разве это не означает, что равнодушию конец, как конец бывает положенному на кривой стол коту, который больше не может смотреть на тебя ровно — не суждено осуществиться прощанию, останется некоторый крен — как бы покосился на даче забор, поставленный между двумя участками.

Как разница между безучастностью и равнодушием. Я знаю, о чем вы хотите сказать — вы говорили об этом вчера, когда воздух был легче, и казалось, что сказанное возвращает, настолько гладко вы говорили, как будто перекатывался из угла в угол камень, и я мог видеть от него обратимый след. Не так — сегодня, и я понимаю, что на самом деле сказанное заключено в речи, которая для него столь же чужда, сколь и прозрачная бутылка. Не в этой ли тюремной чуждости, так резко противопоставленной физическому, как тьма — звуку, редкая возможность ощутить собственную матерчатость? Как приложиться разгоряченным лбом к холодной стене.

Мысль не нова и похожа на идею лизнуть зимою дверной замок. Знание об этом опыте распространяется в морозной тишине, как само молчание, иначе как объяснить повсеместность феномена и неизменное удивление результату? В этом случае, кажется, только фактура знания дается даром — только его дармовая сторона, как если бы на рынке остерегались поворачивать монету орлом во избежание столкновения с подделкой. Но, может быть, там имеет место страх столкновения с подлинностью? Сто раз подтвержденный результат почему должен считаться ошибкой? Кто будет отстаивать эту позицию? На эти и другие вопросы нам снова ответит Манус, но ты в процессе этого забудешь о том, как и когда был поставлен вопрос — ты не сможешь сказать о нем ничего, кроме «он стоял тут всегда»

Мне это понятно. Таким образом и меняют замки, стоит подобрать ключу. Конечно же, дело не в ключе — он один, к нему вопросов быть не может... откуда, например, мне передалась эта родинка на шее, о которой Нэлли говорила, что не замечает ее? Удалить ее можно только вместе с сонной артерией, и я живу с ней, как с орденом, полученном во сне. Может быть, это и отделяет меня от тебя — эта родинка, о которой, как о любом знаке отличия, неприлично говорить, но говорить приходится, когда речь стоит о включении света в список подручных предметов. Я бы хотел, правда, чтобы

ты сказал об этом сам. В руки тебе дается машина наших с тобой различий.

Хорошо. Удостоверяю этим «хорошо», что Макс отличается от меня родинкой на шее — отличается не в свою пользу, прошу заметить, ибо иная деталь может оказаться смертельной в свете отчета, составленном из архивных обрезков, как письмо похитителя с требованием вернуть похищенное. В итоге, как Манус и говорил, свистит прогулочный ветер, и никого рядом, кроме фигуры одиночества (которая есть одно только пустое окно).

Я говорил о том, что хотел бы поставить вас на расстояние в один шаг и велеть стрелять одновременно. Для этого понадобился бы согласный со мною второй секундант — что само по себе тавтология, к тому же я не уверен, каким ему следует быть: иметь ли ему волевою черту жестокой отстраненности (как у меня) или же просто — быть ему увальнем, исполнителем этой воли, моей отцовской воли?

Вы так говорите, как будто в самом деле не можете решить между двумя близнецами. Может быть, вы могли бы таким же образом выбрать и между мной и Артуром? На самом деле я не могу понять, почему я один каждый раз оказываюсь недостойным зачета по вашему предмету. Сколько раз содержимое моей беднеющей комнаты переливалось в широкие стены аудитории! А из предваряющих мой провал последних счастливых могла бы выстроиться советская очередь. Чем я плох? Самое страшное — осознавать, что для вас я мог бы быть плох тем же, чем и для вашей дочери. Мне всегда мучительно давалось понимание связи между вами — но в конце этого мучения для меня открывалось вдруг широкое поле вариаций, в котором и была растворена моя жизнь. И казалось, что я иду по этому полю прочь. Появление Артура сделало мое существование легче — посреди поля в какой-то момент просто выросла стена, вдоль которой можно ходить, и обратно, но — что обратно? Откуда именно я шел? Если бы мне показали источник моей молодости (пусть не вечной, пусть бездействует в углу заката фотограф), я бы до самой смерти шел к нему, не боясь дойти.

Но мне был доступен только свет — чужой лампы и чужой гостиной, где вы и Нэлли передавали друг другу альбом с альбиносами, а потом мне, и мне не было понятно, почему вы смеялись над женщиной, которая стоит над пустой инвалидной коляской и чему она улыбается. Ни вы, ни Нэлли, наверное, никогда не могли представить, что мне тоже есть чему улыбнуться, что ужаснуло бы вас. Этим я и жил в те смутно счастливые дни наших первых встреч — моей непрозрачностью, продиктованной отсутствием ко мне вашего интереса. Мне было позволено, тем не менее, ходить поперек лиственных теней, где в плоском раю комнатные растения смешались с дворовыми — или просто так выглядывает испорченная палитра в конце работы? Мне была очевидна нехватка в квартире женской руки, как очевидна была нехватка женственности в Нэллиных руках — я заключаю эти два наблюдения в неуклюжие объятия друг друга, чтобы их ряд не выбежал из моего сердца и не вбежал в него — так работает серебристая игла, призванная с верхней полки метафор сшивать края пореза, но глубока ее задумчивость.

Прямо вижу, как вам хотелось бы вручить эту иглу в полупрозрачные руки моей дочери, но это было бы полной утратой индустриальности, это вам сейчас кажется, что реализовалась бы ваша отвлеченная амбиция. Она не умела даже зашить дыру в единственном носке — впрочем, она никогда и не пробовала.

Тогда почему вы думаете, что не умела? Может быть, у нее просто не было возможности явить свое умение нам (и носку) или даже себе. Вы, конечно, думаете, что это спасло бы ее от неминуемой смерти, и не хотите даже начинать думать о том, что еще могло бы ее спасти — пустая бумага, сжигаемая огнем прошлого. Тут важно, что любая реализовавшаяся вероятность горит так же хорошо, как нереализованная (по вашему выражению). Как разница между бумагой и рисунком.

Вы, может быть, говорите всего лишь о лицевой и обратной стороне. Тогда нет никакого противоречия в том, что оно ве-

дет себя как одно уничтоженное целое, но посмотрите теперь, что осталось (ничего) — стоит ли говорить о свойстве смертного, если его больше нет? Может быть, тогда на первый план (а остальное — метель или мушиная напасть, не видно из окна) выходят другие свойства, не казавшиеся нам определяющими. Так, например, Нэллина клетчатая рубашка, ношенная целым поколением неприкаянных детей, может оказаться более точной деталью, чем отпечаток ее пальца на замороженном стекле трамвая. Но при ближайшем рассмотрении и то, и другое оказывается ею, лишаясь свойств и наделяя ее не своими. Так в приближении большее оказывается равным. Однако — событие, возникающее из и становящееся, подобно свиданию, где пара не больше и не меньше обобщения. О Нэлли можно в равной степени сказать, что, когда она выходила из мрачающего здания, листья вокруг нее уже шелестели моими словами.

А где был ты тогда? Небось уплетал пластиковый салат в какой-нибудь дублированной забегаловке. Будь уверен, я уже иду туда с намерением накормить тебя полностью этим пластиком, показать тебе, невеже, пластиковый нож. Но вот я захожу в подобную, и тебя нет. Расставленные сети закусочных только и годятся на то, чтобы скрывать злоумышленников от простофиль — но отлично годятся, не спорю. Одинаковы даже попрошайки (впрочем, не исключаю, что это одни и те же). Тебя нет и не было. Ты говоришь не о том. Откуда твоя уверенность, что до твоего прибытия твое место пустовало, как если бы твое имя было написано на каждом отдельном листе, и что только с твоим приходом она смогла разобрать этот мелочный шрифт? Тут не раздают листовок с твоими именами (а из них каждое — чужое, это я знаю), поэтому почему бы тебе не назваться хотя бы на этот раз Артуром? В этом имени как не было ничего, так и нет. Ни человека, ни искусства. Мы с Нэлли говорили о тебе, и я ничего уже не помню. Ни одного сказанного о тебе слова.

Возможно, кое-что из сказанного обо мне ты относил на чужой счет. На счет себя,

к примеру. Это неувидительно — ты ведь как лежащий полицейский, о тебя невозможно не спотыкаться. Должен тебе сказать, что помню каждый фильм из тех, на которые мы ходили втроем, но из тех, на которые вдвоем, — ни одного. Ты был приставлен к Нэлли в качестве тени, но мне была интересна ее осязаемая сторона. Понятия не имею, знали ты ее с этой стороны, да мне это и неинтересно. Интересно другое — сгодился ли ты хотя бы на что-нибудь? Научил ли ее чему-нибудь? Мне правда интересно, что она думала, о чем говорила. Я беру обратно все обидные слова, сказанные в твой адрес, только не закрывайся от меня в туалете со своими сокровищами. Я буду стучаться к тебе до бесконечности, потому что мне не хватает ее, даже в твоём искаженном понимании она бесценна.

Могу сказать, во-первых, что ее интерес к изучению английского был настолько же поверхностным, что и мой — к тому, чтобы ее научить. Мы открывали окно, и в него улетал сам академический дух урока, и нам оставались одни только репетиции, сухие звезды букв, камушки речи. В школе же с английским все было у Нэлли плохо. В частности, таблица неправильных глаголов полностью покрывалась отблеском лампы, например, мел стирался о бледную доску. Теперь, когда школы давно не было, не было ничего: лекций, как вы знаете, она не знала. Как-то раз пришла к вам (к нам) на пару, и вы тогда были особенно хороши, особенно непонятны. Через десять минут ее уже не было, а вы и не заметили как будто. Зато ее появление и исчезновение были для меня как две сложенные в мольбе руки... не открывайте дверь, это может впустить Артура!

Но мне совершенно не льстит то, как вы говорите обо мне и о Нэлли. Если бы я знал тогда... хотя, уже неважно. Я теперь расплачиваюсь за то, что платил вам. Это ли не линейная последовательность, едва ли приводящая к возмездью. Может быть, в этом и корень нашей безвредности (читай — защищенности), вечной обращенности к тому, что впереди, хотя пистолет смотрит в затылок. Мы мешаем этой точке зрения (у ство-

ла бокового зрения нет), и, чтобы увидеть то, что мы видим, ему нужно проделать дыру у нас в голове.

Вряд ли увидит: кровь — это зрелище (сама по себе). Вы говорите о нас, но вы не так поняли. Я обращаюсь к вам на вы, потому что вы старше, потому что сроком ваша жизнь в три раза превосходит мою, а не потому, что вижу за вами армию, готовую встать на защиту вашей жизни. С вашим случаем мне все ясно — вы обращаетесь ко мне во множественном числе, потому что имеете в виду меня и Артура — привет, Артур. Что ты видел за дверью, пока мы говорили?

Ты бы хотел, чтобы я не видел ничего, но взгляд мой не уперся в стену от отчаяния до безразличия. Мы с Нэлли полностью оправдали имена летних месяцев, и я помню, как на белом фоне выступали белые детали, так память входит в жизнь, оказываясь лишь одним из ее слоев, ничем не оправдывая антагонизма. Все вместе — перелистывание страниц в поисках закладки. И, может быть, морщины — карандашные заметки, которые ведь можно стереть в любой момент... если бы все на свете можно было отметить глухим сигналом пройденного, можно было бы избежать этих отметок.

Но проблема в том, что мне эти отметки ни о чем не говорят. Я делал их в вашем возрасте, и теперь мне совершенно неясно, с какой целью проведена карандашная линия под словами «любовь» и «смерть» (за исключением того случая, где это внесенная в оглавление пьеса Шиллера). Полное ощущение, что это другой человек проделал кропотливую работу по порче моих книг, сжег их в витиеватом огне замечаний, и хотел бы я преподать ему урок обращения с книгами! Познакомил бы я его с вами, конечно — Макс, имею в виду, конкретно, вас. Вы вот книг даже не читаете.

Нужно, в оправдание Макса, сказать, что есть мужество в том, чтобы не читать открытую книгу и рисовать поверх ошеломленных знаков каракатиц, чертить для них из самих себя лабиринты, устраивать в личном обществе скандал с выливанием вина на пол. Кто знает, может быть, знаки

превратятся от неожиданности в камни, и перед ними не нужно будет держать ответа? Нам не дано узнать, как не дано провидеть, жив ли ракообразный внутри своей экзотической сережки на берегу недостижимого моря утром в понедельник — ложь подробностей, мертвящая среда произвола, я сейчас особенно хорошо понимаю, как можно выделывать перед лицом существенного расхлябанные трюки, но косой походкой не дойти до выхода.

А что, если прямая идет к смерти и только к ней? Оставить ли ее идти в одиночку, почему становится так жаль это безлюдную тропинку, что идешь к ней попутчиком, даже не пытаешься объяснить, что впереди горит город, обойти который — проще легкого?

Убедившийся не повернет назад, как если бы нужно было вспомнить еще что-то утраченное — специфику огнем вознесенных до обобщения стен, наготу иную — полную смысла и власти, не эту холодную плотность под рукой — сподручная погрешка, узнаете ли вы меня, Манус? Я — истинное лицо вашего обобщения, когда вы говорите о том, что поколение не удалось. Вы даже не можете отличить меня от Макса, это смешно, можно шутить, я мог бы забрать у вас из квартиры зонтик Макса, и вы отдали бы его без малейшего подозрения. Такова, вы скажете, цена позитивности, таков трубецкой пароход, выплывающий из собственного мусора и автономной рассеянности верхогляда. Таковы медные трубы мыслителя, скажете вы.

А что, если я не хочу вас различать? Ваши отличия мне так же противны, как и ваши мелкие детали в целом. Зонтик этот мой. Он принадлежит моей дочери. Поэтому предлагаю переждать дождь под крышей моего полупустого дома, и у меня есть для вас альбом, по которому отчетливо видно, что я знаю Нэлли в несколько раз лучше, чем вы оба. Вот, например.

Да, она смотрит на меня из плоского кошачьего туловища Гарфильда, как бы говоря о том, что я не знаю, в какой это стране и в каком году. Но наверху вашей рукой написано «Греция 1999», и тогда остается еще

одно, предельное основание отчужденности — не знать, что это именно она, но этого я уже не могу себе позволить. Может быть, дело в ней — своим взглядом она попадает исключительно в себя, обозначает себя, и в этой фотографии (а она ей не нравилась) ей, может быть, как раз не нравилось то, что попадание ложно и, уж во всяком случае, не сражает наповал цели. Она говорила мне, что это не она, что эта девочка на нее не похожа. Было бы справедливо заслушать и противоположную сторону.

Теперь, когда это одна сторона, можно увидеть нестройный ряд взаимно отрекающихся образов как игру в волейбольный мяч. Не этот ли мяч держит на некоторых картинах Вседержитель? Главное, что им нравится, что они увлечены. Нам же остаются мотки шмоток — из этих пелен не распутать крохотного молчаливого младенца. Фотоархив похож на разбросанные по углам вещи, когда невидимый хозяин собирается в путь. Ничего не получается, как будто нет никакого пути, а есть только письменный вид круговой жалобы. Все, как если бы мы сами были землей, в которой лежат. Что тогда мешает человеку стать себе землей и положитьсь?

Не положено.

Тогда кремировать. Мне нужна гарантия, что все, что меня составляет — все бумажные кораблики на воде, будут просмотрены огнем. Я тогда вознесусь выше самых смелых подозрений, белизной отличаясь от бумажного ангела, от молочной пены — так от самой мысли о белизне темнеет белизна, и так я возвращаюсь за тем, что мною забыто. Нахожу, разумеется, вас — вы уже ждете меня в полумраке моей комнаты, по разным углам зрения. Мною был прерван спор, но ничто из того, что составляет меня, что возвращает меня домой — весь оглушенный ассортимент быта во главе с воспаленным будильником и залепленным окном — не прерывает этого спора, вам хорошо в чужой квартире говорить о своем, искать свое. Мне нечего вам предложить. Попрошу Макса включить свет. За лампой находится выключатель. Так немного лучше. Смотрите, какая



косица. У нее в тот момент действительно были красные глаза — это от хлорки, а не от света. Теперь, когда ее нет, можно свободно смотреть на ее фотографии. Но дальше — только пологие пейзажи с недовольными случайными проходимцами.

От того, что человек уруливает за спину, он еще не становится сплетником. Как знать, может, он обнаружил там тропинку, идущую вдоль настенной трещины. Вы не должны думать, что за вами следуют все прошедшие — это раз. Во-вторых, эта фотография подписана Нэлли в качестве одного из наших упражнений: «Nelly». Эта вторая I достаточно хрупка, чтобы ее не было, но здесь она так же устойчива, как фонарный столб. Кажется, что еще секунду, и она упадет с этого почти прозрачного льда — на лед, и я не знаю, произошло это в итоге или нет.

Нет.

Это не так важно. Происхождение переоценено: ряженные тени предшественников не смотрят в камеру при групповом снимке. Неудача фотографии — в этом: в помещении на фоне колясочнике, фамильярном родстве. Какая связь? Какая связь! Что это — колесо велосипедное? Инвалидное? Нам не дано. Но я и утраты не ощущаю — не знаю, как вы именно. Что со мной?

С тобой не то, это точно. Посмотри на себя — вот тебе зеркальное лицо буфета. У тебя на лице лицо, и оно лжет. Если его снять, то ложь станет очевидной, даже ты не сможешь от нее отказаться. Узнать тебя по этой лжи, уличить тебя — значит узнать то, что ничего. Таким образом фоновое знание и приходит — располагается фасадом, располагает им. Так раскладывается финский нож — до тех пор, пока не распадается на составные элементы. О чем я говорил?

Вопрос на миллион ответов. Мне почти захотелось ответить на первый, но второй уже сместил его, оказавшись с ним в абсолютной несовместимости. Теперь мне становится все яснее, в чем заключалась ваша конкуренция вокруг моей дочери, но мне непонятно, почему вообще встал вопрос выбора между вами. Впрочем, я уже высказывал вам свой протест по этому поводу.

Справедливости ради, связь Нэлли с вами также казалась мне чем-то невероятным — не по силе, разумеется, но сам факт ее. Ваша фамилия (а она называла вас по фамилии — знаете вы это или нет) в ее речи звучала совсем иначе, нежели в обходных листах ветра, заведенного в университетском коридоре, но так же прохладно.

Соглашусь с Максом впервые — с момента, когда Нэлли шла к нам через влажную дорогу по старой чешуе асфальта (достоверность не боится тавтологии), не помню, правда, о чем мы тогда говорили. Прерванный разговор всегда ощущается как сговор, когда третий не несет в себе никакой разделенности, кроме похожей кофты в витрине. Она носила иногда подобное — приглаженные умножением резкости покрывала, брала их с собой из какой-то жалости к проходящему. Может быть, просто из автоматизма. Но кто говорит, что жалость не автоматична? Сейчас, например, мне кажется, что сломался какой-то механизм, отвечающий за слом. Длится то, что остановлено в стоячей воде, и движение — только поверхность, ничем не оправдывающая имени гладь. Столичные гости говорили о вашей фамилии как о пустом звуке — я слышал, от меня не скрывали ничего. Никто не знает о нашем знакомстве, на ваших лекциях меня не видели. Может быть, еще не пустой, но пустеющий, со сквозящей ноткой пустоты. Ваши новейшие выкладки и вкладки вызывают смех у умнейших из ваших студентов (глупейшие всё ещё смеются над туалетными салфетками, которыми вы протираете очки), имена, называемые вами, все ближе близкому кругу ваших краснеющих знакомых. Вполне допускаю, что одиночество, ощущаемое вами в форме близящейся угрозы — не более чем оставленность. Вам, конечно, хотелось бы думать, что некто присматривается стертым вечером к угловой единственной фигуре в самом центре лишенной перспективы улицы, отслеживает ее по седине, резко выделенной на темнеющем фоне. Присматривает за ней. На самом деле все иначе. Вы — преследователь. Радость вашей вчерашней цели — в том, что сегодня она забыта, горе сегодняшней — в случай-

ности. Счастье вашей химеры — в том, что ее нет. Страшно видеть, как вы обедаете в одиночестве, страшно быть вашим дистанционным сотрапезником.

Я не совсем это имел в виду — не нужно приписывать мне стройность осуждения, мне не свойственная такая категоричность. Все, что ты сказал, так же мало говорит о Манусе, как мы с Нэлли — о тебе. Но я повторяюсь — во времени, отошедшем на расстояние холостого выстрела, я уже повторялся, не сумев повториться при этом — чем бы она ни была, эта как таковая материальность, в которую теперь надлежит завернуться. Мои повторы холосты, как жизнь моряка. В случае с Нэлли бесконечное повторение собственного имени ничего не дало — как ничего не дает сейчас, и приходится признать, что я требовал и продолжаю требовать ответа от самого звука ее имени. Она не могла повторить даже его — за мной, за опережающим зеркалом, в котором казалось, что какая-то медленная жизнь поднимается, как камень с земли. Она не хотела говорить имени или не могла. Потом разворачивалась каким-то привычным кому-то жестом, с каким, оказываясь бумажным, разворачивается голубь, себя обнаруживая в пространстве собственности. Нэлли полностью освобождалась от меня и припоминала наличие чего-то, чего не было в моей закрытой квартире, или удивлялась лишнему. Это еще не было движением ко мне, как может показаться, но я уже был при этом движении. Скорее, имела место рассеянность, в момент которой в жизнь может быть впущен некий дух чужого торжества. Но как раз его не было во мне — было поражение, и долгое поле души, по которому катится иное, не зная, как повернуть и придать окружающему отношению к себе, разубедить во враждебности. Стержень урока вылетал из этих часов, как спица, и напрасно держался бледный, как на канате акробат, на застекленной картинке луч. Я успевал подумать о том, что к этой картинке — тяжеловесной абстракции с отдохновением (и мгновенным разочарованием) жилистого листа в левом углу — я имею столь же мало отношения, что и Нэлли. В общем, я ждал ее ухода, что-

бы, заперев дверь на два замка, ворваться в комнату, где она сидит, улыбаясь так же, и, не раздевая, ощупать с головы до ног — меняющуюся у меня в руках, теряющую и приобретающую в деталях, как если бы то были ключи, перебегающие из внешнего кармана во внутренний. Иногда, забыв почти прозрачный от новизны и моды свитер, она возвращалась. Зеркало напротив кровати начинало без нашего ведома следующий урок, и Нэлли смотрит мимо него — на валяющийся вразнобой снег, и кажется застывшей, ведь во время предыдущего урока был май...

Вы объяснили ей, что май — принадлежность? Включили чередование тухлого и гашеного света? Это было бы вашим лучшим гипотетическим ходом. Пора было отбросить решето второго языка — третьего языка — и говорить, но вы, кажется, с ней не были так разговорчивы, как со мной и Артуром. Мы располагаем, скажите? Есть в нас нечто божественное?

Я бы побоялся этого божественного — в нас оно или нет. Если первое, то второе. Третье, по вашему совету, отброшено за реке визит — туда, где хранятся смазанные пылью защитные палки, образуя прочную от времени преграду, которая уже ничем не напоминает дни, когда из них состояла преграда иная. Все это держится на весу и на свету, сухие обломки корабля, и негде зажечь фонарь, чтобы ночью их было видно. Здесь осуществляется ваша осведомленность. Между Максом и Нэлли ничего не произошло, потому что вы видите всё, что произошло между ними.

Прозрачность нужна только для того, чтобы видеть — полузабытый лес, вылипшие глаза ос, сердце света, бьющееся медлительно, как если бы. Все это на месте: проходные дворы исчерченных, насильственно вытянутых поворотов — в свете огня видно, что втуне проделана черновая работа, и память еще хранит следы ей предшествующей безупречности. Впереди меня — я, слитый тавтологично с женственною фигурой, проходящей сквозь размытую листву. Ни следа старости не хранит это старое воспоминание, хоть, может быть,

много позже добавилась тень, лежащая на ее плечах в форме какого-нибудь платка, становясь платком перед лицом нежданно заглянувшего света. Ничто не подкрепляет ее все более уверенный шаг — кроме того, что сужается тропа, и сойти с нее становится все более невероятной перспективой. Кроме того, темнеет, но вот уже я вижу из-за ее плеча свой пустой дом с оставленным нами и для нас, как оранжевый желток, светом, и чуть освещены им темные мухи. Помимо того, что я целился в нее из ружья, мы еще развлекались изучением друг друга на предмет клеща — темного лесного ордена, за который иногда принимались родинки (так порой за звезду принимается в темноте спутник): ничему постороннему нельзя было доверить и малейшей детали, потому что знающий отдельно о малиновом комарином укусе у нее под левой лопаткой был нежелателен, а его отсутствие пугало — как если бы и в самом деле означало отсутствие этого укуса, и самой лопатки, и ее почти прозрачного голоса. Так был найден искомый клещ — на левом плече, после долгих поисков. Она писала мне потом что-то, что я не очень помню, но помню, что объяснялся факт ее отсутствия — родители после находки больше не пускали ее ко мне. Еще там было следующее (вернее, вечно предшествующее, глуповатым образом остерегающееся войти в просторную комнату, где для него специально осветили каждый уголок): «Не о чем переживать — это просто жук, маленький жучок»

И почему вам обязательно всегда уточнять это предшествование? Неужели и так не ясно, что оно повсеместно — все места заняты, остается стоять, и нельзя двинуться от плотности толпы. Или напомнить вам, как вы говорили о темноте как о зале ожидания, в котором все оставлено так, как никогда не было, и молчат незнакомцы? Вечное предшествование — и есть вечность, говорили вы. Неужели с тех пор, как вы это придумали, вам удалось еще чуточку состариться и поменять свое мнение?

Я готов многое простить Артуру, но обвинение в непоследовательности... посу-

дите сами, Макс, есть ведь и пределы. Их, собственно, два: пустота и избыток. Третье — Артур. Вы согласны?

Вы слишком много на себя берете, отдавая мне столько власти. Оставьте и себе немного. Не мудрено прийти к решению сделать третьего крайним. Но третьего во мне не больше, чем первого и второго, поэтому ваша догадка неправомерна. И мне странно, что при выборе грубоватой оппозиции вам оказывается нужен третий судья — вы хотите и ему придать черты этой грубоватости, наделить его центром смещения чужих кровей, и мне это безразлично. Пусть некто другой морочит себя непримиримостью крайнего духа с крайней плотью, я снимаю с себя полномочия самоубийства. Что еще? Меня беспокоит схожесть ваших описаний. Ладно бы первое было продолжение второго, но у меня стойкое чувство, что второе принимает черты первого — как побежденный учитель, склонившийся перед пустяком, согнувшийся в поклоне над ландышем. Если спросите меня...

То ты ответишь. Не было такого, чтобы ты промолчал там, где царит молчание. Интересно другое: вам, кажется, очевидна необходимость пробела между первым и вторым, как если бы природа каждого не отличалась в достаточной степени от другого. Неужели, не будь пробела, исчезнет различие? И уж во всяком случае, плох для этого Артур: как мы успели увидеть, любой пробел заполняется им бесповоротно — чем угодно, чем ему угодно, то есть. Не вам. И не мне: я на вашей стороне, несмотря на вялый конфликт интересов. Несмотря на то что вы от раза к разу заваливаете меня на экзамене, а я вас — зачетными листами, на которых все менее узнаваема подпись декана, мы говорим на одном языке и об одном и том же. Разве это не чудесно? Сколько свободы в этом предмете. Простите мне мое плавание...

Для прощения необходимо вернуться. Ты же пока даже не тронулся с места. Все, что ты говорил, — только подготовка к речи, и без тебя известная жевательная резинка «Love is...», можно разве что сквозь землю

провалиться от такого настойчивого стояния. У кого же ты просишь прощения и за что? Всем очевидно твоё алиби — ты все это время стоял, уткнувшись лицом в стену. Какие могут быть подозрения? Манус хотя бы всеми усилиями дает понять, что у него была жизнь. Этим он, по моим расчетам, и заслужил свою тревожную старость и скорую смерть. Однако высказанное мною опасение относительно относительности сказанного им остается в силе.

Только в вашей голове может возникнуть связь между этими двумя историями. Вы просто никак не можете забыть первую — ваша ревность распространяется на любые подобию, вы все зеркала готовы увешать простынями. Могу я дать вам совет? Не обедняйте себя. Не ищите специально подвоха, а если находите — приветствуйте его. Для Макса вы и есть подвох. Подвоха не было только в Нэлли — в ее намерениях и ненамеренности, в ее прямоте по отношению к смерти. Тут уже вопрос к вам, как вы допустили.

Все знали о ее увлечении кружком огневодов, тут я не одинок. Если бы был одинок, то было бы намного тоскливее — что делать теперь с этим знанием? Некого обвинить, кроме знающего: не осталось ни одного. Два раза я ждал ее в проходной арт-кофейни — лишенный стула, чтобы размышлять. Ничего не было — скучал шпион, скучал полицейский. Доска объявлений: «Огневоды собираются два раза в неделю по воскресеньям». Босиком, мне было разрешено пройти в комнату, где вокруг залитого светом и чаем стола происходило собрание сочинителей. В ранней молодости мне снилось: я выхожу на стертую сцену зала напротив ожидающих с оттенком осуждения глаз и говорю такое:

*Из полутемной залы, вдруг,  
Ты выскользнула в легкой шали —  
Мы никому не помешали,  
Мы не будили спящих слуг...*

И тут кто-то (причем позади меня) спохватывается: «Постойте, так ведь это...» — и я с провинностью изгоняюсь из собственно-

го сновидения. С присущей мне ответственной честностью я пытался от противного полюбить обычный работающий народ, не имеющий досуга для посещения огневодов, располагающий лишь одним воскресеньем, но собрания были хорошо организованы, и любой мог к восьми вечера дотянуться из оглушенной конторы, оглушительной мастерской, воняющей поликлиники. Сперва происходил исход сочинителей — при том, что один-два из них оставались на огневодов, занимавших время в том же месте. Там менялась вокруг трех ламп и пустующего комода человеческая декорация. Идея была особенно проста — в одну из ночей осветить город огнями импровизированных факелов. Все хотели всех разбудить, чтобы на улице стало светло как днем. Это было не ново, но никто не обсуждал предшественников, как если бы их не было. Уже одно это могло заставить подумать о недостаточном уважении к делу, мелком соперничестве текущего с утекшим, желании достигнуть того дна, которого достигло второе, открыть пространство небытия. Для Нэлли это было предприятием невидимого нам масштаба. Ее глаза горели, как два крупных города.

Ты так говоришь, как будто тогда это было ничем: волнением шторы, отблеском мишуры. Для тебя не было ничего значительного в том, о чем ты говоришь — в том смысле, что не означало ничего. Теперь ты говоришь нам, что из этой незначительности выросло означаемое — при том, что никто не заказывал этого памятника посреди улицы. Этого человека никто не знает, не ждет ни в одном из освоенных глухих домов. К нему подойдет для фотографии турист. У Нэлли есть старая фотография, где с двумя ее подругами она окружает статую Горького. Облепили. В конечном итоге безразличие памятника всегда более основательно, чем безразличие прохожего. Хотя в последнее я верю вполне — не может не усыпить эта ожившая открытка, это промежуточное достижение популярной механики.

Прошу вас перестать. Мир широко разнороден, но полагаю, на свете нет ничего скучнее скучающих людей. Вы просто не

были на настоящем море, не ходили вдоль берега и забора в ожидании конца дня.

Сочувствую. Вы и тогда были влюблены в кого-то каким-то особенным образом? Иначе зачем бы вам понадобилось море, и день, пусть и длящийся к концу (на самом деле, с конца и начинающийся), зачем вам было бы говорить об этом нам? Мир недостаточно широк, чтобы свестись к вашему взгляду. Не может Вселенная висеть на вашем гвозде.

Я всего лишь хотел отметить ваше и вообще одиночество. Одиночество мира, оставленного человеком, огромно. Он может только сам с собой поиграть в мяч, стучать его об потолок, например. Или, не знаю. Напоминает мне, как я пытался занять Нэлли чем-нибудь в первые месяцы материнского отсутствия (вы эту мать видели — помните фотографию с горой Эверест и косым профилем, едва не уместившимся на поверхность редкой монеты? Этот профиль остался там жить) — пытался научить ее играть с самой собой. Скольких потом трудов стоит разучиться! Я сейчас не говорю об обобщенной ситуации Максогов недостатка, а о вполне определенном типике, достигающемся познанию, и в первую очередь — познанию самого себя. Правда в том, что герменевтический круг незавершен: ничего страшного. Он недаром связан с герметичностью — не безвозмездно. Возмездие близко, возмездие — близость без последнего шанса прикоснуться, разоблачить даль. Макс, хоть и не владеет моим предметом в достаточной степени, все же хорошо понимает эту изначальную обреченность познания, которое, идя от себя, до себя не доходит. В этом контексте хорошо вспомнить гумилевского «Жирафа»: кое-кто так долго вдыхал тяжелый туман комнаты, что у него отнимают и его — наподобие того, как увольняют из конторы образцового работника за неимение семьи и любовницы. Ищущий оказывается эмпирическим фактом — так работает логистическая цепь питания, так загорается солнце. Что он обретет, кроме обратной дороги, проложенной до него тем, что до него было?

Обратного пути не продлить. Никто не знает, что именно совершается в узком кругу знакомства и отчуждения. Тот самый условный Артур, руганный вами, отделяющий первое от второго, на самом деле — вас от Нэлли. Это хорошо. Если бы не это разграничение, едва ли бы незаинтересованное в высшей степени лицо могло отличить вас от современной девушки: ваши волосы, ваши глаза. Можно продолжать.

Продолжите же. Доведите мысль до самой причины вашего недовольства. Что во мне заставляет вас раз за разом отправлять меня на новый круг выяснения подробностей? Что еще вам надлежит от меня услышать? Или вы ждете от меня, что скажу при всех — вылезая из-под парт, влезаящих в окно, заполняющих самые поры аудитории, кабинета, комнаты — то, что из страха не можете сказать вы? Я не из пугливых, шепните мне на ухо, вышлите шифрованным письмом. Для меня вы — угроза. Для вас — иное, идущее следом, невидимое мне из-за вашей спины, слитной с собственной тенью. Я не боюсь вашего палача. Все это кружится до бесконечности, не находя выхода в себя, в осуществление. Оно — и есть кружение мое вокруг вас, и закатившегося солнечного глаза, глядящего из своего окна на то же, на что я — из аудиторного, в одиннадцатый раз.

Эта повторяемость, может быть, и формирует камень, который послужит основанием. Камень камня: все то же, встреча встреч. Ад камней. Но откуда берется пространство, кто его усвоил? Может так оказаться, что пространство не имеет значения: оно — всего лишь отсутствие точности в пику убийственной точности камней. Они два перевешивают все то, что их окружает — уже окружило, как лесное зверье. От одного друга-философа я слышал однажды, что стоит сесть посреди поляны, как через несколько часов вокруг тебя начинают собираться зайцы, бурундуки, белки. Так он питался в лесу всеми, не зная недостачи. Как мы видим — говорил он — пространство обречено: эти два камня (он вытаскивал), их кружение — и есть пространство.

Тут нечто, подобное смертной казни и пожизненному заключению — одно являет другое, скрывая себя в его приближенных чертах. То был немец — мы сидели с ним за одним белым столом в белой столовой, и он рассказывал мне, помимо прочего и в основном, о своей жене; там была фотография, и я кивал — действительно. Далее он убирал фотографию в нагрудный карман — под молчание окружности и глухие раскаты уличного музыканта, и продолжал обед. Ощущалась неловкость, которая возникает после радужного сближения людей общего возраста и схожих интересов, когда выясняется, что больше у них ничего общего нет (иногда удается — и это радость — переждать шторм случайной единичной встречи под крышей гостеприимного артрита). Мы оба отметили вытянутого кота, распущенного вдоль одного из неубранных столов. После мне ничего не оставалось, как подняться по узкой лестнице вслед за ним в его боковой номер, где он вручил мне рассеянную старушку, глаза которой не узнавали лица, на котором находились.

Вы должны были сообщить ему, что у вас уже была одна молодость. Рассказать о крылатой осени.

Ничего обо мне он не узнал — говорил постоянно, как автоматический. Как будто ему было не только неинтересно, но и страшновато узнать что бы то ни было обо мне — как если бы в чужой свет попавшая собственность оказывалась чужой. Вечно нам кажется, что нечто чужое то и делает, что окучивает грядки. В конце концов, приходится и признать, что это не изреченное, а услышанное есть ложь... впрочем, ладони листы, протянутые к самым корням памяти. Кто видел это вчера? Где он сегодня? Отданная на откуп архиву влага. Осенью же что угодно перебирает листья: вечная недостача. Меблировочная музыка могил. Родительный их падеж. Что было бы, спрашиваю я себя, если бы камни пришли на паломничество в мир людей?

Что они забыли? Что вспоминать? Одна печаль — одна радость, я хочу сказать... не могу, получается, нарадоваться их печали,

раз такая разница. Но за спиной — они же, и не сойти за тропу, на которой они стоят. Обходить — человеческое дело, но нет следов. Может быть, человек и не должен оставлять следы: идущий следом — смотрящий в лицо спине. В целости же представляется не совсем так, и все, находящееся за спиной, камнем ложится на плечи. Пусть так — ложится, падает, бросается, точится водой, только не является — таковое явление мучительно, требует иного зрения. Взгляд передается по наследству: Нэлли следила за мной вашими глазами, когда я больше всего нуждался в том, чтобы быть оставленным в одиночестве — теперь я понимаю то, как работает сексуальность, когда чуть повернута на полке самодельная модель самолета — как бы ключ в пустую комнату. Она пришла ко мне без предупреждения, и я не успел убрать следы одиночества, и мы были среди них. Главное, что ей совершенно нечего было мне сказать — еще ничего не случилось, и уже ничего не было, и откуда тогда берется любовь? Завтра я проводил ее в сияющий мороз, и, счастливая, она стояла на моем пороге напротив халата, в который я был обернут, обернутая в то, что я в детстве называл «самокурткой» — примерное чучело с душой человека. Спустя две минуты ее не стало, и я начал думать о том, какова действительная разница между предыдущим утром и этим. Предшествующим и последующим. Всю разницу утянул день — его вечное подобие, свет с его самозваной белизной.

Но я же вам предложил тогда заниматься с ней английским, вспомните! Я позвонил вам с просьбой прийти ко мне на лекцию, и вы явились в пустую аудиторию, полную ничейной мебелью. Я тогда спросил вас в шутку, не желали бы вы прослушать мою лекцию о влиянии Сартра на Лейбница?

Нет, благодарю. Нет на оба вопроса. Я не желал вставать между ними — между Нэлли и Максом, я понимал, что отношения их узкоспецифические и строятся большей частью на несостоятельных уроках, даваемых Максом. Справедливости ради, другим ученикам он дает не больше английского, чем ей: пролетает самолет, площадь земля, в воздухе

ничего, кроме моли и молитвы. Жизнь отвлекла раз и навсегда, сказанное сказалось само, ворожба осуждена. Вина не наказана. Разве явь хотя бы издали напоминает слово — я хочу сказать, я уже сказал, на самом деле. Сказочная тень вечно ждет у твоего темного порога, так что ни войти, ни выйти: не выйдет ни вопроса, ни ответа из этих безадресных предпосылок. Нечего ворочать сказанное. Это иллюзия, будто нельзя воротить — можно вполне, и тысячу раз повторить, чтобы во весь рост, наконец, встали между тобой и пустотой большие воробьиные ворота, навсегда открытые. Слово — ранение навзлет, и никогда не задевает ни одного важного органа. С ним нужно уметь работать, как с ускользящим поползновением, давать сырым, как сам неласковый полдник окна. Боюсь, что педагогическое поражение Макса не менее сурово, чем ваше, хотя и другой природы. Ваши руины овиваемы одним ветром — плотным и ощутимым, как платок.

Уже второй раз я слышу об этом платке, возникающем из какой-нибудь глупости. Мое суперэго мнит себя Зигмундом Фрейдом. Все каждому из вас нужно покрыть чем-нибудь что-нибудь, чтобы приблизиться еще немножко к полной невозможности высказать то, что перед вами находится. Вы не сможете описать лица, данного вам вблизи. Куда это годится? Откуда столько суеверного страха перед наличной реальностью? Я буду повторять столько раз, сколько потребуются: меня зовут Макс. Так будет, даже когда некому будет звать меня, и если звучащим будет не дозваться, останется так же. Мне достаточно понятно, что ваш страх перед названием идет от страха перед тем, чтобы быть — самом по себе условном сроке бытия, ибо подающий голос выдает только себя. Но за кого? И кому? Может быть, имеет место протекторат. Лаковое покрытие пейзажа — и пейзажиста. Все в этом голом виде есть — и человек, и его друзья. Не нужно преувеличивать растянутую до смыкающихся краев вечность гор: кто-то с вершины мог бы точно так же преувеличить оную равнин. И в этом более общем равенстве не будет

изобразительных средств, чтобы от него откупиться. Посему предлагаю ограничиться тремя точками, тремя точками обозначить все, что вы хотите сказать...

Получается колпак. Кого вы хотите околпачить? Вытянутый, как у Буратино, нос, конус конца — это только для ночного кошмара годится или для пульсирующего пробуждения. В свете все это предстает другим образом — полем проигранного сражения, потерянным горизонтом, или просто — нет ничего, чтобы продлить его во времени взамен пространности, не договориться со странствующим торговцем. И то, что идет оттуда, не пугает, потому что точно так же никогда не дойдет до этой ненавязчивой подробности — смутной палатки, чьи стороны равны, как соединенные в мольбе руки. Не дойдет дела: до последней детали, дальше которой не будет места сомнению, до реки, до мне — дательные падежи паломников, безымянных между нами. До вещей в их последнем описании и равнодушно отблескивающего пианино, под высокий рев владельца не вылезавшего из выходной двери. Может быть — как раз из-за этого невылезания, из-за невозможности вытащить на пустую улицу выращенное в помещении имущество. Я протестую против того, что не могу прийти в соответствующую себе инстанцию и выяснить, каковы условия проживания Нэлли сейчас — в душе я требую ответа на то, как проходят ее дни и ночи, каково питание. Я имею право все это знать, но если единственное место ее исчезновения — в прошлом, и не выпускают детей за узкую территорию повторяющегося, как на допросе лжец, пансионата, то мое посещение будет сродни визиту в инстанцию выходным днем: только уборщик, только швабра. Только история про незакрытую с вечера дверь и страх перед поселившимся грабителем — предшествующий истории, которая подтвердила его с мистической точностью, утвердив. По этой тверди можно без риска ступать. Неужели это и есть то, что предшествовало ее смерти? Все это — от зеленеющего дерева на точном небесном фоне, до на фоне леса — густого, как масло, водоема.

Вы пытаетесь поймать ее в эти сальные руки — бывшего и оставшегося, но у вас получается раз за разом прощальный жест правши. Кто отличит, если не смотреть в оба, две эти руки, протянутые в удостоверении пустоты? Точно не обращенный лицом к стене — в наказание за вину, вменяемую нам с уверенностью асфальтоукладочной машины. Ничто автоматическое не чуждо, и все просится на руки — вечное детство дебила, выросшего в смерть. Вы не боитесь поймать нечто подобное? Уверю вас, что вероятность существует. Только тогда вернее будет сказать, что это вы попались на собственную наживку в собственном заросшем саду — ничего несобственного не будет в машине, переваривающей вас в себе своим машинным маслом. Вы успеете подумать — никакого вкуса, ничего не чувствуется. Только белок. Его самозванная белизна.

Во рту, а не в руках. Сколько таких проглотов уходит ежегодно из вопросительных зданий? А между тем я совсем не знаю, что подобного можно сделать в ситуации, подобной нашей. Не потому ли нам разрешено говорить? Я сегодня подозрителен. Нет ли на мне вины? Я ушел от ответственности, я оставил включенным свет в спальном комнате. В чем именно вина? И все бы ничего, только не эта мысль — что наказание окажется настолько же неопределенным, насколько неопределенна провинность. Может быть, сам чай с имбирем, любимый мною — и есть кара, сосланная мне, как декабристу жена. Или пребывание с Нэлли — в одном усеянном следами арт-кафе, где говорит полувивший слово:

— Не в том суть, чтобы напугать кого-то или обидеть. А в том, чтобы стала очевидной красота — мы будим не спящих, а слепых, и эта разница мне очевидна. Не для того мы собрались здесь, чтобы осуждать тех, кто нас непременно осудит. Наш огонь — это огонь наших глаз, и ничего разрушительного в нем нет и не может быть. Я вышел из семьи, которая закрывает на ночь все три замка на каждой из трех дверей, за которыми ничего нет. Я знаю, что такое бояться собственной тени больше, чем злодея

на длинной и узкой дороге. Знаю, что такое быть поставленным раз за разом на место, и всякий раз ощущать, что это разные места, находить поблизости новые и новые предметы, все с большим трудом расчищать себе сквозь них дорогу к свету. Мы себе не родня. Кто станет нам родней? Уже вижу, как кто-то с неохотой, но решительно поднимается с места вместе со своей курткой: он? Или она. Неважно. Мне всего лишь нужно, чтобы был рядом человек, с которым можно идти вперед ради взаимного дела.

— Парень или девушка?

— Не имеет значения.

Кружок анархистов сужался до герменевтического. Рядом виднелась темная доска, на ней черным написано: «Все, что тает, становится снегом». Случалось порой, что приходил один и курил в гостеприимное широкое окно. Тогда — откуда фотография? Но в том и дело, что она дана нам со слов — все более чужих, более далеких. Раз за разом настагает углубляющееся отчаяние от понимания того, что совершенно все было уничтожено в том неискоренимом огне.

Но дна не видно. Я не стал бы называть отчаянием то, что бесконечно модифицируется в своих признаках. Это скорее напоминает мне то разноцветное отчаяньице, которое рождалось во мне, когда школьником, в которую школьником я был влюблен, пряталась за спину другого школьника (можно ли открыть уже школу, с такой концентрацией?). Макс, я должен тебе сказать, что тогда принял говорящего за тебя, но теперь не могу, конечно, представить, как я мог вас перепутать. Переданное тобой, кажется, совсем не заключает сути того, что наплел этот задним числом убежденный девственник. Однако переданное тобой ужасно по своему — своей выпрямленной во весь рост ложью оно не повторяет ужаса правды, но умножает его в адском калейдоскопе. Я боюсь проснуться однажды и без всякого ночного огня увидеть, что он — единственное место, где теперь можно найти Нэлли, и что вызволить ее оттуда уже нельзя.

А если бы и можно было, то для чего? Для чего иного, кроме сокрытого от меня — все-



го, что дано мне видеть только при выключенном свете. Передо мной, как в гадальном шаре, на поставленное место встает надпись, состоящая из тысяч и тысяч знаков: это статика, даруемая только самому дотошному изображению. Мало-помалу достигается переход в новую, ни с чем не сравнимую, степень к нему доверия, и когда это мельчание шагов становится ощутимой неспособностью двигаться, ты понимаешь, что это и есть то самое доверие, уже это. Этот порог и есть — переступание его. Это понимаешь ты, а я понимаю тебя.

Почему тогда возникает эта (всегда на личная) неловкость при описании событий и предметов? Что скрывается за этой оскудевающей течью — и что ты за ней скрываешь? Одно ли это и то же? Не различить два этих безразличия по отношению к настоящей наличности — даже той корочки, по которой они узнаются в своем равнодушии, но не равенстве. Медный мой обруч улепетал и уже висит вон в небе, словно в бюро находок. Солнце или луна — не важно. Ни луны, ни солнца... они собраны в одном архиве (примерочной?), где бесконечность материала все выражает и выражает подобия, стремясь в один минувший день произвести себя, как на сцене фурор. Я видел нечто похожее, но не то — на глазах теряющее в деталях, действие с прохуdivшимся дном. Что остается в конце? Машет над водной гладью согнутая сабля — только чтобы затеряться в среде родни, как преступник. Но ничто из этого не переступает порога мира, которому мы даны в качестве смерти — такая легкая смерть, как будто не с тобой все это, и без тебя. Вроде как возвращение по собственным следам к истончившемуся источнику света. Но тогда что-то другое дает нам эти силы идти назад — не причины, но следствия, ожидающее нас по возвращении — в самом источнике истончения, сточенном камне краеугольности.

Известен древний, как мой отец, анекдот про то, как взяли автора рукописи. На допросе его убили, так и не сумев выпытать рукопись. Позже им (а заодно и окруженной действительности) стало известно, кто

именно был взят — спившийся прозаик, не написавший за десять лет ни одного литературного текста. История из разряда о том, что посмертное стихотворение Есенина могло быть написано убийцей. Но это — из другой оперетты, не я это выдумал. Мною придуманы другие подкладки, которые до сих пор позволяют (позволяли) мне говорить. Странное дело говорит Витгенштейн — строго говоря, мы никогда бы не знали, о чем именно невозможно говорить, если б нам не сказали. Не исключено, что сейчас нам пытаются продемонстрировать: на самом деле никакой возможности обойти молчанием бомбу, заложенную в неуспевающих остыть следах. Может быть, только само остывание уберегло бы от гибели, но нельзя идти по земле, не оживляя мертвых. Этот юродивый въевшийся императив, выбросить его с одеждой, но все же... все же остается — прилегающая к телу способность ощущать тепло и даже ту частицу света, которая как бы знает о существовании не только тела, но и его смертной муки, которая не только начинается, но и заканчивается чувственной радостью, и только в середине, в этих объятиях, та со дна прохуdivшаяся пропасть, которая и останавливает мысль. Но не в мысли дело на самом деле...

Если только ей не удалось дойти до того предела, где впервые возмнилась возможность отшатнуться, испугаться всему и сразу пройденному пути — в сороковой раз без прикрас. Все прошедшее оказывается само — краской, соскобленной с заказного заката. Все закаты по цене двух. Если мысль обратима, обращена на себя и способна проникнуть этой обращенностью, как цветной маркер, слабую бумагу пройденного ею, оставленного в покое — то не этого ли признания от нас ожидают на устойчивых постах по всему знакомому ей пути. Они и сами уже — часть этого знакомства — учтены мыслью и тем признаны. Они и есть — признание, которого требуют. Что еще, кроме спитого чая бытовой подробности?

Не забывайте, что кровососы по старой памяти в зеркалах неотразимы. Видно только себя и несмываемую родинку. Неужели

она — и есть причина того, что Нэлли предпечла тебя? Думаю об этом в миллионном ряду остальных причин. При всем их количестве, до неба они не доходят: меньше всего я верю в безусловную любовь, которая сама себе якобы служит основанием бытия. Главное, что смущает меня в этом (и мешало бы жить, если бы регулярно не отmetalось), — это непонятное свечение между двумя этими стертymi руками. Какая-то подмена в этом есть. Напоминает мне «Сон смешного человека», где отчетливо бывает видно, что не в подмене внутреннего внешним проблема, а внешнего внутренним — мучительная гомункулизация окружающего. Давно пора понять, что человекоподобие не роднит нас с горбатыми носами гор, но обрекает на сосуществование с прямоходящими чудовищами, населившими каждый угол круглой земли. Мир возвращает человеку все его копии, и это меньше всего похоже на паломничество. Скорее — обратимость, самообращенность неопита. Как оставить за собой это право — смотреть назад, если взгляд и без того прикреплен к этому заду, как фотография к документу?

Нет никаких проблем, если это право — единственное. Нельзя зато запутаться в паутине вязи — право иметь имя, право не иметь имени... все это так утомительно на самом деле. Не лучше ли подобное: сказанное приковано к говорящему так, что каждое слово становится именем. Не этого ли от нас хотят — списка имен? Без нашего, конечно, но каждое становится нашим. Опровержение становления — длинный и замороченный комментарий. Позволим ему запутаться в собственных щупальцах, упасть на дно собственного океана. Я отказываюсь сходить с назначенного мне и, мне кажется, тебе самому самое время принять тебе дарованное. И не нужно думать, что это смирение тебе даровано — никому не дается просто так способность обходиться без насущного. Страшны не сами по себе три сосны бытования, но — когда задумаешься, что и их не будет. Тогда зато нечто должно стать ясным, но для кого — тогда (отсылка к небывшим временам)? Кто бы приблизил человека

к инструментальному совершенству, прежде чем спрашивать с него функциональность? Я запутался в обобщении, я погиб. Ты думаешь, что Нэлли — это так легко. Но на самом деле, кто сказал бы тебе при ее жизни о моем бесформенном страхе перед ее умудренностью, врожденной с единственной целью — судить мою наготу до самой смерти, судить на смерть. При выключенном свете — и все равно недостаточно укрылся в уголке восходящий носок — она смотрела так, будто это еще не все, но это было все. Хотелось снять еще и кожу, и группы мышц, чтобы она удостоверилась в моей мужской, человеческой, случайной природе. Вплоть до отсутствия плоти — черепа, с радостью родителя удостоверяющего — это была просто шутка, никакого подвоха теперь нет. Если включить свет, то ничего не останется, страх уйдет собой — ему знакома дверь, которой он ходит. Я говорил ей тогда нечто не более реальное, чем сейчас оно выглядит в моей памяти и на случайной бумаге. Я готов это подтвердить, но это не следы — они неуследимы. Вся твердость — в странствии между двумя химерами: неповторимостью с повторением. Первое повторено кем-то — в твое отсутствие, множество раз, и в этом только и есть ее спасение. Кто они? Вот аквариумная свежесть влажной кофейни, в которой мы ждали — кого и чего? Зашел к нам высколенный иностранец, спросив с собой эспрессо. Нэлли без любопытства смотрела на него, и, как старое серебро, тускнел летний свет (облако переходило старую дорогу). В окно нам была видна проезжая часть и узкая тропинка тротуара, на котором в своем праве стоял велосипедист. Это что-то дало, и что-то дает теперь — в понимании того, что такое эта проезжая часть, но не в целом. Вот диск луны. Где ее оставшая часть? Не оставляйте на дороге и уносите с собой свои распущенные разутые глаза. Все это невозможно вернуть — в том смысле, что нельзя высказать в глаза все, что о них думаешь — об этих круглых бегунах. Я сижу один, и мне звенит колокольчик входа и выхода — не мне, но тому, кто здесь работает. Я не работаю. Во мне зреет жела-

ние побега, но вид из окна так и останется плоскостью. Из уборной вернулась Нэлли, принесла ее блеск с собой: говорит, что я не должен переживать ее уход и что нельзя отменить то, что уже случилось: «Сделанного не воротишь. Теперь всё». Это она говорила о тебе — не знаю, что она тебе говорила. Наверное, что-нибудь по-английски — как-нибудь плохо. Главное, что я ощутил со всей тяжестью бессмыслицы — ее одиночество, собственную неприглядную даль, твою неспособность узнать все это даже теперь, когда тебе сказано. Не могу найти, чем заверить эту оберточную бумагу: может ли состояться плешивый куст возле кассы, повернуть ли его боком? На дне чашки уже не оставалось ничего, кроме ровной гущи. Что я сказал тогда — может быть, ничего, но ее уже не было: снова не удалось говорить ни о чем общем, а ты оказался всего лишь частностью, случайной целью, созданной поражением. Зато как легко мне было в эту минуту — секунду, половину секунды. Я вышел, и мне было точно ясно, куда идти — с Нэлли такого не бывало, курс всегда сбивался и становился падением в те или иные освещенные данностью места. К примеру — крушение надежд в арочном парке или рыхлое скольжение в морозном гипермаркете, где даже эхо казалось тебе простуженным. Сквозь это эхо мы шли, как другой звук, до выхода, где сменялся смех и ширился рынок, в воображении сужаясь. По углам загорались и не могли вызвать пожар светящиеся шары, устаревали плоские, как клопы, телефоны. Я купил зато, спрятавшись от вас (статичных), мягкий светильник на батарейках. Думал (и думаю) о том, как характеризовать открытое пространство — в каких заведомых сферах заверяется его открытость, и как ждать от него новых открытий, когда ясна недостаточность оснований. Пробежал стремительный слух о том, что среди отмеченных слухом завуалирована знаменитость, и тогда передо мной в профиль возник знакомый образ — человек покупал у невозможного ростовщика собственные диски. Все было не то и расступалось перед молчанием, как двойной ветер. Теплота рассеивалась, и

становился ясно, что ни сейчас, ни когда бы то ни было не удастся собрать по частям открытое пространство, выпустить в него вечную толстую узницу. Архивы растрепаны, как голова арестанта, но кто в этом виноват? Где видано, чтобы кому-либо было поручено охранять собственный архив — что угодно может произойти в жизни человека по его воле, включая и побег из архива.

Но тогда это означало бы прерывание записи и фактическую смерть. Кто перечитывает распорядок дня перед тем, как перейти к существенному, которое — всегда под рукой, всегда — рука. Важнее сказать, что и я сам не мог (но и не хотел!) сказать ничего о пространстве — прустранстве, как говорит (кивает) Манус. Просто Нэлли была при мне в этот момент, и он действительно был статичен, как ты угадал. Но статика не должна успокаивать нервы, Артур, ибо мы темнели на зеленеющем возвышении, вдали от цен, и я приглаживал ее исчезающее платье. Что приходит в движение само, не сумев сдвинуть с места становящиеся тени следов? Ни одному из нас двоих не было дела. Но, может быть, дело начинается ближе к земле — муравью с муравой, еще более гулким и слабым отпечатком того, что есть. Так любой из звуков с легкостью бывает сердцем — собственно легкостью, собственностью, как сама гладкость беглой капли, блеклой в сравнении. Становилось не видно того пальца, который указывает на небо. Между тем никуда не девалось тепло — как если бы вывернули куртку, читаемую с обеих разворотов. Может быть, все в мире — от его неумения выразить любовь к человеку, затерянности в дальних догадках о том, что ему нужно, неизбежности и невозможности прихода второго, который всегда оказывается третьим, и становится ясно, как поздний час, что до этого третьего был разговор с кем-то вторым — прерванный грубо и без должных оснований. А впрочем, предъявлена бумага. Сыщи теперь источник света — помимо проходящего парохода, на удалении разложенного по цветам, один из которых — часть воды, разбуженная жестко, но как бы изнутри — неизвестно, чья

это жесткость, воды или обращенного к ней. Кроме этого — что? Вывернутый карман и — скорее в ожидании — блеск мелочи. Общая же картина — на стене, она — стена. Картонность ее и картинность — но она всегда в лучшем виде, обращена лучшей своей стороной к лицу. Тщетно выворачивать ее карман, уже понимая вполне, что искомый блеск мелочи — и есть блеск отличия, которого не будет. Но известно, что посреди лета — не временно, а пространственно — и всей его лиственной нежности затерян этот кармашек, как последнее препятствие перед искомым и перед тем, как понимаешь, что оно и есть — искомое. В этом нет поражения — или есть, но совсем немного, такое легко вынести. Однако изнутри — снова то же. Снова — теперь уже можно сказать о том, что это — скользящая вдоль глаз слюда поверхности, вечность, данность. Я снова выхожу сухим из воды, возникаю перед парадом лиственниц. Но доволен и этим: мне мало было бы знать Нэлли с этой стороны, я хотел бы полностью управлять ее телом — разминать боксерскую перчатку сердца, орудовать клапанами желчи, краниками слюны.

Может быть, это обратное желание самому не быть, чтобы кто-то еще был, как раньше, до того, как пришла эта поселившаяся до краев мысль. Иначе как объяснить подобную голую самоотверженность?

Разве что тем, что появляющееся там или тут лицо можно было бы назвать смертью. Человек удивляется, и потом, когда удивление расслаивается по ее телу, расслаивает само ее тело, приходит в норму — к мысли о настоящем. Ну а тут — всевидящий спрос, как на осветленном рынке. Только в памяти можно было придать рынку те или иные очертания — в искусственном освещении, предающим предметы, но кто и когда обещал кому подлинность подачи, ведь вопрос не в том, чтобы сказать о чем-то прямо, но как бы то ни было. Например, я не мог придумать ничего из того, что можно было бы рассказать Нэлли, — кроме истории о происхождении того, что происходило вокруг нас, как если я бы я вел слепую по темнею-

щим дворам к ней домой. Там я увидел, как из двери в дверь переплыл без очков Манус и потом не вышел из двери.

Я вас не видел. Как вы понимаете, я не видел почти ничего — даже дверь впереди меня рисовалась с предыдущей, сунутой мне вплотную. Мне не очень к лицу показываться перед студентами в подобном виде...

Подобном тому, в каком вы сейчас, вы хотите сказать?

Артур прав, я действительно не при параде нынче. Однако я в своем домашнем праве, в знакомом помещении, а вы — мои гости. Макс, покажите нам, где была поставлена палатка.

Прямо здесь — на фоне кухонного стола, рядом с неухоженной столовой ногой. Утром вы об нее споткнулись, сотворив эффект вихря. Мы с вами неплохо посидели тем утром — Нэлли ушла загодя, не разбудив ни одного из нас. Речь шла о моем категорическом непонимании — вы все пытались уточнить это ваше высказывание, но, по-моему, вам это так и не удалось...

Напротив — я прекрасно помню, что вот здесь, за этим столом, в заочном присутствии Артура, я говорил вам о непонимании императивной модальности и о том, что все заключено во всем, даже в холодном чае. Если бы вы тогда рассказали мне — в тягучих перерывах между глупостями — об огневых, то мы бы дождались Нэлли, спасли бы ее.

Но ведь любое мое заявление вами грубо опровергалось, вы вспомните. Вы и от этого бы отмахнулись так же, как от моих слов про ускользание ваших категорий от любого захвата — самые простые вещи у вас выскальзывали, как между парами студент. Даже сейчас вы не хотите признать, что с Нэлли происходило и произошло нечто существенное и отныне не очевидное — просто потому, что закрылся вопрос об ее жизни, а открытый касается только нас двоих — даже Артур отошел в гостиную поискать кота.

Его нигде нет. Манус, я слышал о планах избавиться от Мухтара, однако не верил, что подобное возможно. Главным образом потому, что, когда я приходил, его нигде не

было видно — он становился мебелью и блеском углов, как после смерти — моя круглая собака. Стоило теперь мне понять, что его нет совсем, как сразу бросается в глаза отличие его от фона, в котором он затерян. Я думаю, Макс, это имеет отношение к тому, чего от тебя хочет Манус. Сделай из сказанного мною некий вывод.

Было бы слишком просто перевести пустоту в абстракцию. Вы ждете от меня невозможного.

Это было только предположением Артура — не стану его подтверждать. Однако я видел кота накануне — вокруг тлеющих гостинных цветов, развернутого кресла. Не хотите же вы сказать, что я все это придумал — такие подробности... в игрушках всегда ценились детали — и в моем детстве, и в вашем. Темные ноздри кукол, лакированная спина ящерицы, узкий прицел ружья... все это как будто готовилось к забвению, представляя его себе в виде настойчивого агрессора, знающего слабые точки вымышленного — его замысел, но главное — его цель: существовать во что бы то ни стало, оставаться на месте. С каждой лакомой деталью пупс становится все более правдоподобным, становясь при этом все большей ложью. Стоит ли после этого удивляться, что говоримое кажется настолько невероятным, что нас раз за разом бьют по лицу, как собак. А главное — кто бьет? Все та же явь, не узнающая себя в наших рассказах. Может быть, попробуем уточнить хотя бы что-нибудь — пусть самую незначительную мелочь, и тогда нам засветит отсрочка, поспытятся секунды и минуты молчания.

Следует признать, что вы не всегда получали всего, что заслуживали — и я говорю о побоях. Молчание тоже не гарантирует ничьей безопасности — приходя только к наличному, само разоблачение, свет в его изначальной тревоге. Говорун разоблачает себя в третьем лице — но это уже одно оберегает его от ответа, которого ждут от одного и того же, иначе бы не было возвращений, которыми и кругла земля. Хотят признания в том, что ты и есть — говорящий, чрево вещатель. Другими словами, умеющий рассказать историю.

Других слов нет. Другие слова — уже другая история, моя или ваша, но не история Макса, к которому вы обратились так легко, что мне захотелось за него заступиться почти впервые. В одном я с вами согласен — и это позволит нам говорить о двоящемся, не позволяя ему ускользнуть в трещине между этими двумя: что требующий требует не просто подлинности, но — чудесного единства, требует гения, я бы сказал — так, как если бы это было просто признание в генетическом родстве с тем далеким, находящимся от вопроса на расстоянии протянутой руки, остающейся в ожидании. Всегда возникающий у меня вопрос — просит ли она, дает ли — это другой вопрос. С пустотой так постоянно. Главное, что оба понимают лучше, чем оно есть на самом деле — молчание хранит только мертвых, оно неотделимо от них так, что сама категория его рода двойственна.

Я спрашивал мертвых, больно ли им — они не сказали нет. А если все же вывернуть это — снова проделать работу, всегда выпадающую из моих рук — вывернуть в сторону живых, самой жизни (поскольку сквозь наволочку неразличимы предметы), то окажется, что они и состоят в приближении к этому молчанию — во всей уверенности, что оно не позволит нарушить себя никакой силе. Ситуация, подобная той, когда я на две или три минуты задержался возле дикого ручья — с уже мытыми руками и освеженным лицом. Голоса, которые окружали меня постепенно с некоторой повседневной отрешенностью, принадлежали Артуру и Нэлли. Главенство над ними с уверенностью держал овод — возле уха он внезапно возникал в точечном величии, как если бы тебя тщился разбудить мощный будильник. Вокруг колыхал лес, будто в ожидании чего-то еще более экстравагантного, чем он сам. Спускался с высокой дороги Артур — обладатель тертой куртки, универсальных брюк. Нэлли при нем не было.

— Где бы она могла быть? — спросил я тебя тогда — с ненавистью, если ты не слышал.

И она была над нами — крикнула, что мы похожи на фон. «Фон чего?» — спросил я

ее некоторое время спустя, когда ты пошел отлить и заблудился. Она сказала, отмахнувшись от медленного комара — на фон как таковой, без уточнений.

Я знаю, чего — я забрался на ту высокую возвышенность, и все видел. Мне было дано увидеть нечто незабываемое и вполне определенное — как вкус карамельки (бывшей у меня тогда за щекой) сохраняет нечто, кроме сладости, и после того, как сладость уходит вместе с ней. Я спустился без всякого желания видеть вас, Нэлли — особенно (Артур разумеется собой), и только страх перед возможным между вами кустарным половым актом заставил меня к вам вернуться.

Медленным было возвращение — запомнился почти двумерный знак распятой на дороге Нэлли, ловца круглых автомобильных экземпляров. Два раза останавливались, но, заметив дополнительных оброслых фигур, сворачивали. Наша одежда в тот день отражала все смутное разнообразие городской культуры, зато гендерный нейтралитет Нэлли был выразителен — он выражал это наше разнообразие, наше ни на чем не основанное отличие друг от друга. По какому праву мы занимали эти взаимные места — и главное, не разобрать, чья еще воля оказалась подавлена этими соприкосновениями отчуждений.

Наверное, так принято говорить о поколенческих стереотипах, стереоустановках и стереоочках. Ничто из этого не подлежит нежности и не приемлет ее — так, как не принимает ходульная молодая женщина, когда настанет день столкновения двух чудес — ее неприкосновенности и чьей-то жалости, кого-нибудь, кто ее достоин — жалости, я имею в виду. Сказать и об этом тоже — и это предать мгновенному огню узнавания, просто потому, что взгляд — и есть огонь, так быстро сгорает все, к чему он прикасается. Что касается Нэлли, то мне было сказано забыть — из первых уст — о том, что было, но не было уточнений — касалось ли это ее белых чувствительных ступней или того, как она вставала на цыпочки — для и длясь, как бы дотягиваясь до висящей на ниточке звезды. Это было, по нашим меркам,

до начала времен — до появления Артура. Мы ждали на пыльной обочине звездопыда, отъехав в автомобиле Мануса в далекое от людей место, где кого-то вроде нас ждали уже гопники. Я не отдал ему ничего — как будто еще ничего не было в карманах тогда, до старта истории, и мы убежали, спотыкаясь о неровные камни — мелкая моторика дороги. Нам пыталась наискосок отрезать путь серая куртка, но что-то поймало ее, клеило в мутную полутьму ночи, и мы бежали без всяких помех — до тех пор, пока не обнаружилась всегда бывшая трава, и блеск желания, до сих пор похожий на блеск проезжих фар — так не отмываются в воде руки от масла. Может быть, сам этот блеск мог бы теперь, когда до невозможности суживается зрачок желания перед неразличимым лицом света, ставшего всем, мыслью о машинном желании, направленном не на нечто внешнее, но на собственную природу — желание в поисках желания, погоня огонька за огоньком. Что должно произойти, чтобы нерасторопный наблюдатель поверил в реальность этой погони? Единственное, что приходит в голову, — бежать, со всей возможной убежденностью в дороге. Ибо дорога появляется под ногами бегущего. Однако — что если догоняющий, дышащий пистолетом в затылок, не хочет ничего спрашивать, а хочет поведать что-то, что стоит знать? Как это узнаешь? Нельзя увидеть лица преследующего — иначе и он увидит твое, твою тревогу, но хуже того — твою радость, всю твою жизнь, каждую твою фотографию. Я поймал себя на мысли — уже когда над нами высилась различимая трава и мои руки в темноте узнавали новую Нэлли, что не помню ее лица — так, если вплотную приставят твое лицо к стене твоего дома, ты увидишь только неровную гладь мертвого моря. Близкая подробность быта, материала или тела возводит тебя к опасной высоте обобщения, сокрытое в темноте оказывается переключателем света. К слову о предмете нежности, способной с вершины узнавания дотянуться до слепящей новизны и полной неповторимости. Может ли за это быть соразмерное наказание?

Ответ виден невооруженным глазом. Вооруженный ответ: знающий подробность сам виден в подробностях — его личность отныне удостоверена. Любовь — строгий немецкий учитель с голубыми глазами. Теперь я знаю, кем были те пьяные фигуры, которые отшатнулись от меня с дороги, когда я ехал их искать. Макс, вынужден сообщить вам, что почти все, вылетающее из вашего рта, не делает вам чести. Артур, я все больше склоняюсь к вам в качестве оптимальной партии для моей дочери.

Артур, похоже, тебе обещают смерть. «Дорогому Артуру, с пожеланиями любви и смерти». Меня же, видимо, планируется отправить в три ссылки, каждая из которых не будет отличаться от двух других ничем, кроме двух или трех деталей, заимствованных из какого-то четвертого места — где все они соединены так хорошо и плотно, что вызывает сомнения в реальности этого места, но не в реальности трех других, которые, уж конечно, объективны — видны с высоты полета, формируют треугольник голого пространства. Хочется сказать — на этом пространстве может быть жизнь, это можно освоить, но стоит спуститься, и видишь — уже есть жизнь, и другой быть не может. Остается утешиться обратной синевой.

Будет ли она прежней? Скорее всего, теперь она будет напоминать по цвету увиденное тем — землекопом, похоронным червем, занимающим и расширяющим в глубину дно этой ничем не наполненной бочки, сплошь состоящей из просветов, как бы насквозь рассмотренной пулевыми глазками, в итоге своем — прозрачная, как дело об осужденном без вины. Следствие в поисках причины. Ведь эта самая прозрачность и кажется сверх мер непроницаемой — когда говорят о судьбе в смысле пологого полета, походя собирающего горсти и гроздь изъянов, деталей, свойств... в этом полностью освещенном окне не видать отражения. Ничто не накладывает на события отпечатка личности — разглаживается ткань событий, накрывается стол памяти. Кто вокруг? Одна только цена молчания.

А по мне, так отличный тост произнес над нами Манус. Где была ваша находчивость во

время Нэллиного дня рождения — быстро скисшего, как настоящее молоко? Кое-кто из нас подарил светильник — он был настолько удачной догадкой, что совершенно совпал со светильником, купленным самой Нэлли за год до того. При этом — от парадного входа, до черного выхода — было развернуто поблескивающее пространство дачного дома, с усилением скрывающего свое близкое знакомство с белкой и мечтательной плесенью, помыслами устремленной в будний сад, где росла, не зная об этом, бледная, как с восьмидесятой фотографии, красная смородина. Пространство было до потолка заполнено — не людьми, но тем, что их неразборчиво, но прочно связывает, лестницей подобий, уходящей в потолок. Некто посетил мимоходом, преподнес обеими руками робкую коробку — никто никогда не узнал, что в ней было. Еще кто-то из отверженных не показал и лица, утвердив центром гостиной некий плод скупого воображения (одиночный пакет). Все было в самом начале дня — был только я в озирающемся доме, и немножко — Нэлли, вспыхивающей вокруг, как края страниц, когда читаешь пространное описание, и кажется, что оно должно закончиться чем-то страшным — трупом, взрывом, и потому не закончится никогда. Отчего-то пыточные инструменты не учитывают факта о том, что факт сам по себе есть не время, но пространство — лучше всего это знают полицейские, сооружающие место преступления, в то время как повествование так же временно, как сама жизнь.

В то же время необходимо располагать данными о том, что факт в этом своем пространстве более точен, чем любой сказ о нем. Пространство речи есть сама речь, сличающая себя только с вымышленным прошлым, в то время как факт есть факт — пространство пространства.

Почему эти ваши переходы кажутся мне переходами ко все более мелким, более темным сферам? Получается какой-то решительный верлибр, стихотворение соревнуется в темноте с читателем. Не проясните ли хотя бы что-то, хоть что-нибудь? Недостаток точности, Макс, — вот этого я в вас

не принимаю. Вам кажется — что угодно может быть выведено из чего угодно, но вы лукавите, ибо что угодно — это Макс, Макс и только. Никаких Нэлли, никакого Артура.

Никакого Мануса, строго говоря.

Это — дело десятое. Мне легко представить себе жизнь без меня — кладбище без моей могилы. Процессы брожения и тому подобные тома. Но моя теория порождающей пустоты не только переживет меня, но и предшествовала мне. Я хочу, чтобы вы это поняли — я не лучший на свете лектор, но это именно потому, что и сам вижу только малую часть того, с чем имею дело — ежедневно, ежечасно. Меня бьют в лицо, но я не могу сказать короче о том, что по своей природе длинно.

Но не страшно ли, когда за вас заканчивают начатое вами — так давно, что вы и согласиться готовы с тем, что конец стоит начала? Финишем обычно становятся два слова — имя и фамилия, что и есть во всем, сказанном выше, — главная новость, эта подпись, поставленная кем-то анонимным. Уж ему-то легко бросаться такими словами, как громкие имена. А в могилах переворачиваются те же, кто переворачивается в постели — видящие кошмар, быть может. В остальном — полноценное спокойствие, вряд ли какое-либо из тел станет реагировать на такую мелочь, как некогда — имя, теперь — пустой звук, полнящийся, как и тело, агрессивной жизнью. Одно следует помнить — ни при каких обстоятельствах не ставить подпись, пусть сказанное переходит к слушателю, во весь рост становясь его проблемой, и не стоит двойной преграды — разделяющей стены с возможностью стучать, но без возможности открыть.

Однако эта невозможность как бы сама собой разумеется, конечно. Иначе зачем стучать, если там — никого, и если ты — здесь, вместе с собственной потребностью войти. Я только хочу сказать, что эта невозможность сама по себе не является открытием и требует субъекта — кто и на что направляется, но ведь это и есть картина двойного самоубийства — не знаю, думали вы об этом в подобном ключе или нет.

Двойное ли? По вашей логике получается, что оно — все-таки одно и то же, просто обернули стену, увидев на месте портрета заросший дичью пейзаж без возможности его припомнить, но главное — вспомнить потом, когда увидят снова. Только что-то сперва смутное, а потом — вызревающее в отдельную зелень тени, становящееся определенным, как лицо жены, однако то, чего искала память, — за спиной, о нем нет догадок, как о хорошем подарке, сообщающем человеку о нем то, что им наполовину забыто.

Примечательно, что при этом оно не является оным, иначе было бы не миновать встречи — не разминуться во мраке двум автомобилям одной марки. Кто отличит виновного? Никто не остался в живых — это отметить особо.

Обычный сценарный штамп, призванный склеивать разваливающийся комок событий. При наличии глаз невозможно в такое поверить. Судите сами... но обстоятельства дела туманны — к тому же видные фигуранты увязаны в нем. Это уже не туман, но — ночь: одна звезда за другой. За другой, но кто отличит эту отдаленность от той близости — как отметить в чужом лице подступающую грусть? Разве по все большему отчуждению. В редком вечернем гулянии каждому оказывается отведена доля покинутости — так осваивается праздничной толпой знакомое нам по рассказам пространство. В своей мести зрячим темнота не нуждается в убийце — за пнем возникает пень, и за пнями не видно леса.

Работа еще не закончена — я предлагал произвести систематическую вырубку деревьев, чтобы, наконец, лес стал виден. Недостаточно еще приложено стараний по выработке метода, согласно которому все предстает в сияющей ясности обобщения. Оказывается, что рассвет виден только потерянной в лесу человеческой единицей, про которую было сказано, что она отбыла домой.

Я говорил с тем человеком — к нему тоже прилагалась моя ревность, но при свете дня глаза его оказались тупы, а нос



широк. Он говорил мне о том, что зрелище полноты оказалось чем-то исключительным, и он лениво перемещался в сторону дачного дома, однако вышел на проезжую часть, где его мгновенно, чуть не против воли, подобрали направленная в город попутная машина. Оставшиеся были молчаливы, и только Манус развлекал набирающуюся пустоту рассказами о ней.

С вашей подачи, Макс. Вы попросили объяснить основные положения, и я был обязан без всякого желания вести вас вдоль огорода — к умирающей изгороди, где я, впрочем, благодаря экскурсии обнаружил дружную тлю. Правда — и я говорил вам это, как говорю сейчас — было подробное ощущение простоты и почти родственной радости. Казалось, что какая-то солнечная линза собирает мою жизнь и становится ею без всякого усилия. Я согнулся в дугу, чтобы достать из-под листвы цветущую ягоду, а когда выпрямился, вас уже не было рядом. Настроение мое не ухудшилось, даже мелькнула мысль — вот он (был), мой мудрый хранитель, терапевтический агент. У вас, конечно, полным ходом шли поиски Нэлли...

Нетрудно было ее найти в съездившемся, как от холода, доме, где уже все мне было знакомо до ужаса — никогда раньше не задумывался, откуда берется этот ужас перед знакомым, но теперь — да: не потому, что ответ найден, но оттого, что перерыты помещения, вывернуты карманы вероятностей, найдена иголка в стоге сена. И до сих пор передо мной склонившийся старик вопроса, как если бы ответом были всего-навсего уроненные очки. Нэлли спала в гостиной, как гость, и я не сразу узнал ее: глядя на ее закрытые глаза, было невозможно поверить, что они именно того цвета, какими я их запомнил. Я до сих пор думаю, что только заочное знание о том, что должна быть она, убедило мое зрение — но для этого ей пришлось пробудиться, от моего тупеющего взгляда: шанс на спасение сгорел, ее лицо было ясно. И вы не поверите, что я сказал. «Кто у нас умер?» — сказал я.

Бросьте! Я и сам порой принимал ее за свою жену. Мне кажется, ей это было при-

ятно — по крайней мере, она каждый раз спрашивала, слышал ли я что-нибудь новое, и я говорил ей о том, что ничего. Каждый раз казалось, что вот-вот должна была появиться — пройти через всю безразличную комнату, чтобы забрать из зеркального шкафа пылящий дождевик. И потом — будто не сумею найти выход без посторонней помощи, ждать которой неоткуда, потому что ничего постороннего нет в квартире. Не за что зацепиться — нечем бросить в проходящую тень, и она проходит во всем достоинстве, на какое способно небытие. Иногда вся эта подробность оказывалась сном, и я спрашивал ее, где она, и она открывала рот — для крика или ответа, но я уже бодрствовал. Нэлли спала — нам больше всего нравится представлять ангелов спящими, на всякий случай. Не видеть крылышки писем за их спинами. Не зная ответа, она не умела его уберечь, и я его узнавал — так специальные слуги при дневном свете проверяют письма на предмет ядовитых чернил. Я открывал окно и делал в гостиной едва заметные перестановки легкой мебели — от парящего стула до похожего графина, который, где бы он ни стоял, всюду создавал впечатление угла. В целом было ощущение того, что кто-то пронесит вдоль притихшей толпы большой стеклянный сервиз.

Кровавая битва сущего с несущим!

Брось... у вас ведь есть такой — я помню! Вы не достаёте его почти никогда, но однажды Нэлли принесла себе и мне чай в стеклянных кружках, и у меня правда было впечатление исключительности этого момента, и какой-то особенный звон стоял рядом с нами, а не вокруг нас. Я тогда понял, что ничего не добьюсь — ни в каком из смыслов, и мне стало на душе так же легко, как за несколько лет до этого, когда я впервые это почувствовал — что ничего не добьюсь и что мне нечем и не за что ответить. Я тогда был один в помещении, а теперь рядом со мной была Нэлли — и молчала в тупике какого-то очевидного вопроса. Какое это счастье — не обладать ничем! Даже голос, как было правильно подмечено, уполномочен, не дрогнув, выдавать человека.

Если бы не появление Артура, я бы отделился от вас обоих очень скоро. Шел бы и шел по известной дороге — мимо дома и поворачивающегося вслед мне, как плоская картинка, парка. Позади меня завелся негромкий циклический (от слова «цик») процесс, состоявший из распадающихся и как бы в последний момент собранных согласных подобно стрекочущих струнок и одного сплошного шипящего, как теплая газировка, звука — и вперед выехал новенький велосипедист.

Что вас остановило? Восприняли буквально какую-нибудь надпись на стене?

Какой-нибудь поворот или перекрытая дорога — отсутствие инерции или некий дорожный знак. Дорожный рабочий делал руками гребные жесты — как цивилизный островитянин, однако чуть позднее обнаружился второй, внимательно следящий, ему и адресовалось. Над оцепленной сценой восставал экскаватор. Я прошел какой-то хрупкой, чудесной тропинкой во двор, где был замедлен (вечерело) застенчивыми молодыми людьми, которые шли вдоль моей дороги, которая вот-вот должна был закончиться рыхлой стеной, но кто-то сказал: «Это не он». Я был оставлен в одиночестве — как будто и другие люди на улице так же перестали существовать рядом со мной и моей обидой. Утешение нашлось только в мелкой кофейне, о которой я вспомнил благодаря вдруг проступившим крупным чертам городского лица — достопримечательным памятникам, славящих материал, из которого созданы. Внезапно изменилось положение вещей — я возвращен себе самому без видимого ущерба, пил кофе с черничным пирогом, как раньше и как после — хоть на воображаемой фотографии. Тогда дверь — знакомая стеклянная дверь — впустила их обоих сразу, и Нэлли, и Артура.

Мы изначально знали, где тебя найти, но не были уверены, что ты хочешь быть найденным. Нэлли настояла на этом, и я тоже был не против. Сейчас, один на один с тобой (Манус ушел пролить порцию слез), я могу тебе сказать честно, что так и убивают таковых, так заводится яд в пироге. На то и

рассчитано: почему, ты думаешь, нам было позволено говорить — на фоне всеобщего молчания? Просто-напросто известно — и ты лучше других знаешь это — что мы говорим об одном и том же, задеваем одни и те же рычаги, которые давно уже срабатывают автоматически — при нашем появлении, но на самом деле это мы появляемся при них в момент, когда они срабатывают. В сто сороковой раз выяснится, что заученная и обсужденная нами деталь — и есть наша вина, и кто поспорит с этим тогда? Спорить с виной будет значить спорить с деталью, отказываться от улики, что настолько же возможно, насколько возможен отказ от первого лица.

В то же время всякое возвращение обязано тем, что никогда оно не то, чем должно было быть. Ошибочно все — от звука шагов до дверного скрипа, и разбужены оказываются все, вплоть до полицейской сирены. И даже этот разбуженный мир обращен к иному — солнцу в его простоте. К слову, описанное вами напоминает мне смех над привычками стариков, не желающих пользоваться запоминающими устройствами и при этом помещенных в полностью состоящий из памяти мир, так что даже провал мгновенно заполняется чем-то еще — как при выключении электричества включаются генераторы напряжения. Но и это — только освещение сцены, сговор саспенса с прокрастинацией. То, что произойдет, будет вырубкой света, и ничем больше.

Напоминаете мне моего материалистического друга — в разговоре о смерти он склонен впадать в незаурядные суеверия: то экран выключат, то трава вырастет. Между тем мысль — не жизнь, это было отмечено сто раз. Мысль почти настолько же далека от жизни, насколько жизнь — от мысли. Вам на самом деле ничего не стоит продлевать свою мысль за пределы этой «вырубки», как говорят дровосеки: ведь и этот провал должен будет заполниться — незаметно для всех, для вас — в первую очередь. Не вы ли говорили о том, что жизнь подобна коридору, где люди — ряд поочередно зажигающихся и гаснущих ламп...

Только это продление — и есть та самая прокрастинация, отдаление того момента, когда я уже не смогу сказать ничего о том, что вокруг меня.

Начинайте уже сейчас. Вы меня обвиняли в том, что я всюду вытягиваю себя, но и вы — что, кроме себя, вы можете гарантировать в презентуемом вами мире? Вы из тех лекторов, которые ждут, что будет зубрежка, что уж вас-то можно ожидать на экзамене в полном объеме, но я, кажется, столкнулся с той самой проблемой, о которой уже шла речь: перешагнуть через вас для меня невозможно, заученное вас не устраивает. Значит ли это, что я плохо заучил? Открою вам секрет — в седьмой раз я списывал, у меня была шпаргалка, я лил вам в уши вашу собственную мысль, и вам все было мало. Вам казалось, что я упускаю нечто, что, может быть, вам самим не очень ясно — или не очень лестно?

Может быть, я знал о том, что вы списывали? Не приходило в голову? Сухое повторение — думаете, этого я жду от студента? Спросите Артура, как он сдавал — расскажите, Артур.

Но, Манус, вы поставили мне автоматом.

Да, конечно... боюсь, вы были не узнаны. Слишком поздно мои лекции — не видно лиц. Что ж, мы объяснили некоторое хамство Артура, проскальзывающее тут и там. Что ж, Макс, если угодно, ты — исключение. Исключительная личность, о которой мне хотелось узнать максимум возможного — таков простецкий сюжет наших академических скитаний из аудитории в аудиторию, когда закрывались двери. Просто однажды, когда закрылась последняя дверь, тебе было предложено перекочевать ко мне домой и продолжить экзамен там. Здесь, собственно. Если тебе удобно так думать, то экзамен продолжается до сих пор, и Нэлли исчезла как отвлекавший элемент. На очереди — Артур: ему будет исчезнуть проще, он, как ты сказал, материалист. Только тебе захотелось говорить о посторонних вещах — полагаю, в надежде обойти краеугольные камни моей философии. Но, как уже успел сказать Артур (которому я бы за одно это поставил удов-

летворительную оценку), блуждание устроено так, что точки назначения неизбежны. У непослушных умных птиц есть свои клетки.

Он говорил об этом совсем другими словами.

Все равно — это одна и та же мысль, она, в виде исключения, имеет отношение к жизни. Помимо прочего, жизни достигает только нечто исключительное — отсюда и точность, и невнятность подступающего.

И подступившего. Вплотную оно ничуть не более выразительно — никакого выражения. Вернее даже, что это я не нахожу ему выражения, когда оно минует — а оно минует всегда, до тех пор, пока я сам не миную, пощадив чью-нибудь жизнь. Понимаю, что это может быть только моя жизнь, пусть увиденная косо и осужденная, но осудивший вынужден будет признать ее моей, закрепив за мной статус обладателя. Так вплотную мы оба близимся к одной точке — тому, чем жизнь явилась именно сейчас, а не тогда, когда она шла, подобно крови, в мир больший или меньший. Ни того, ни другого нельзя наполнить, но можно наполнить смыслом простое слово «кровь» — как пять оживающих пальцев. По-английски точное знание передается в том числе с помощью речевого оборота о тыльной стороне ладони — знать так же, но как быть с тем, что зажато в руке? Задним умом все сильны. А стоит поймать с поличным — рука оказывается пуста наравне с карманом. Может быть, все-таки во рту — тайна? Но и там, как мы видим, — только удостоверение молчаливой личности, дентальные нюансы.

Артур, если бы он был с нами, мог бы сказать, что эти нюансы имеют в индивидуальном плане куда большее значение, чем все, вылетающее изо рта во время жизни. Когда кажется, что никто еще не спасался от обобщения в смерти, последним улыбается пломбовый апломб черепа. И вширь, и в длину — да так долго, что спросишь: улыбается ли кто-нибудь еще в мире? Но у меня вот, например, съемная челюсть...

Опять вы моделируете чужую реплику и отвечаете блестяще. О, диалог с вечностью! Я так тоже могу делать.

Вы уже показали свое умение подражать. Если бы я был тебе вместо отца (как ты однажды сказал мне — в порыве сентиментальности или отчаяния), то Нэлли ты был бы вместо мужа — не мужем, а муже-заменителем. Зря думаешь, что это свежая мысль — Нэлли сама признавалась мне в этом.

Полагаю, что это было сказано в присутствии известного нам отбывшего свидетеля. Прошу заметить, что это вы исполняли только что его роль, а не я. Я же впервые с момента нашего с ним знакомства чувствую себя свободным от его влияния. И — сколько ошибок я допустил, стремясь брать с него пример! Примерностью я обладал, но и он, как я сейчас понимаю, также был примерен — в этом смысле мы шли бок о бок, как два киношных автомобиля, но каждый из нас обладал и точностью. Как вы правильно отметили, точность разводила нас по углам, и это автоматически оставляло Нэлли в одиночестве и полной подверженности огневодам. Появление же нас обоих наделяло ее определенностью, в то время как любой из нас не дал бы ничего, кроме своих ожиданий. Поняв это только теперь, я давал ей ощущение собственной непогрешимости — что было обратной стороной вины. При этом нет никакой причины полагать, что обратная сторона более или менее верна, чем сторона лицевая.

Нельзя и утверждать, что они равнозначны. Профиль может быть стерт, монета может оказаться редкой. Мало ли что может произойти с тем, чего мы не видим. В особенности это касается, конечно, меня. В длинной моей молодости растущие дети знакомых казались мне появляющимися из теней мстителями — так быстро и внезапно

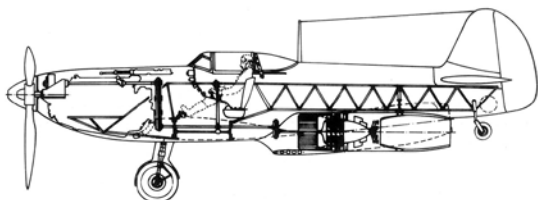
они приобретали неповторимые генетические черты — черты гения, я хочу сказать. Одного и того же ходока, которому надлежит завидовать. Это же касалось и женщин — мне казалось, что один и тот же женский образ пытается сказать мне что-то в разных облициях и не может из-за того, что пребывает всегда в состоянии амнезии (Альцгеймер поразил и метафорическую материю). Больше того — будто бы и от меня требуется та же амнезия... но под ней — неведение: как решить задачу и кто ее решил, пока химик видел во сне жену? В аудитории тихо, как во время лекции (аншлаг стульев), тряпка пахнет мочевиной...

Но ваша вина — другая! Вы забыли буквальное значение слов и событий. Но кто знает, может быть, амнезия — это амнистия. Если некто настолько одинок, что любое совершенное им преступление оказывается совершено без свидетелей, то проблема решена за нас. В лицо нас, оказывается, никто не знает. Только жаль, что некому сказать о любви — «я люблю тебя» и подобное. А впрочем, отпустите к ней. Если любовь и смерть изначальны, то пусть у нас родится мертвая влюбленная девочка.

Признание в любви было получено под пыткой. Алиби обеспечено хотя бы тем, что возвращение приводит в другое место. Но «Я люблю тебя» — это цитата. Имейте уважение к источникам. Двух гениев быть не может, а одного не миновать, как не миновать и самого одиночества. Совсем некому это сказать — такая мысль вынуждена блестеть в неведении, как простая слюна. Если смерть есть, то — что? Требуется сказуемое... однако учитель языка ушел к Нэлли и не подтвердит — может быть, и не нужно сказуемого.

Константин Комаров

## Неровный свет



\*\*\*

Мне далеко недалеко до слова:  
я прочно встал у бога на крыльце,  
как твёрдый знак в начале злого слова,  
а хочется — как мягкий знак в конце.

И, раскарябав звукозябь тугую,  
коварно подменившую асфальт,  
переступаю с левой на другую,  
которую и правой не назвать.

Трясу листвы усталые поджилки,  
рублю гортанью воздуха вино,  
а компроматы пухлые подшиты  
к безделью моему уже давно,

зато — мне никуда не надо пехать  
и некому и нечего пихать,  
когда белеет буквенная перхоть  
на голове немытого стиха.

Я знаю: истончится век-дистрофик  
и, утекая, как река в Аид,  
среди других и этот пятистрочник  
меня к себе ещё приговорит.

\*\*\*

Когда меня прибьют  
Весёлые князья,  
То издадут трибьют  
Моих стихов друзья.

Их зачитают вдрызг  
К. А., А. К., А. В,  
И кто-то даст на диск  
Какое-то лавэ.

И буду я звучать,  
И будет диск играть.  
Чем не резон начать  
Спокойно помирать?

И может, дрогнет вскользь  
 Рука или спина  
 Той, что мне довелось  
 Любить — Е. В., Н. А.,

О. Л., опять А. К.  
 Но надо по уму —  
 Ещё живой пока —  
 Читать их самому.

## К СЕБЕ

Я открываю и вхожу,  
 и закрывается за мною.  
 Я сбрасываю паранджу  
 с души и вижу паранойю —

какой-то наркоманский мульт,  
 где голых голосов глоссарий  
 листает илистую муть  
 чужими бледными глазами.

Я вижу сердца бересту  
 с на ней изображённым сердцем.  
 Сердце я слышу перестук  
 (как бы за солью, по-соседски).

Я вижу ясли и детсад,  
 я вижу лагерь пионерский,  
 где дядя Миша самосад  
 курил когда-то страшно зверский.

Я вижу скорый путь домой,  
 я вижу смятые постели,  
 я вижу, как передо мной  
 прилавки памяти пустеют.

И возникает вместо них  
 из сумрачного кулуара  
 какой-то одинокий псих  
 с повадкой Поля Элюара.

Он говорит мне: «Подойди!» —  
 и я протестовать не смею.  
 Он говорит мне: «Подожди!» —  
 и начинает эпопею

повествовать мне обо мне,  
 о вечной жизни на измене,  
 о недостаточном ремне  
 и о духовной гигиене.

И плавятся мои мозги  
 (одна неделя, три ли, две ли),  
 и я вымалвливаю — сгинь,  
 и лопаются настезь двери.

И я на твёрдый гололёд  
 иду, сожравши зимний воздух,  
 и надо мною небосвод  
 растёт в себя из звёзд навозных.

И мне округа не претит,  
 вздувающаяся, как сдоба,  
 но никуда мне не прийти,  
 поскольку некуда особо.

\*\*\*

Гуляю с плеером в ушах,  
 в нём рок-н-ролл забойный.  
 Я сам себе и падишах,  
 и шах, и мат заборный.

И мне не в масть ни леть, ни месть,  
 ни флаг, ни герб, ни выпел,  
 и, как всегда, забыв поесть,  
 я вспоминаю выпить.

И снится мне всё реже сон  
 о вежливых пилатах,  
 и если я не режиссёр  
 себе, то оператор.

Расшатывая свой каркас,  
 шатаюсь по проспектам,  
 не брат, не сват, не ананас,  
 не сторож, не инспектор,

не обыватель, не халдей,  
 а виршеплёт беспечный.  
 Как много временных людей,  
 да я и сам — не вечный.

\*\*\*

Остановка сердца и трамвая  
на одном заброшенном кольце,  
языком с корнями отрываю  
право не закончиться в конце.

Может быть, мне в этих джунглях лживых  
полюбить ли, встретить ли кого ль,  
чтоб в моих остекленевших жилах  
кровь переписала алкоголь.

Под хмельком химического смеха  
мрёт апрель, сгибает май его.  
В схиму перекарасится ли схема  
тихого трезвенья моего?

Только сердце — это не река же,  
из которой я еще напыюсь...  
Если хочешь, ты ему прикажешь,  
жаль, что я приказывать боюсь.

\*\*\*

Слеза слезу перечеркала  
под ропот радости пустой,  
но длился шаг стиха чеканный,  
хромированный хромотой.

И умирающая тема  
под гнётом ласки болевой  
не удержала тяжесть тела  
и лёгким сделала его.

Но возвращая небу манну,  
испаринной на белом лбу —  
слова остались на бумаге,  
не сказанные наобум.

\*\*\*

С утра говорю я «опаньки»  
крови своей и плоти.  
Плаваю в собственном опыте,  
как чернослив в компоте.

В пустошь шпионом засланный,  
злой предаюсь печали,  
смысл надевая на слово,  
как на ладонь перчатку.

А за окном — ну надо же —  
свет мне маячит стылый  
и говорит, что надо жить,  
смерть огибая с тыла.

В мир, что распахнут форточкой,  
выйти и обомлеть.  
Будешь гадать по фоточкам —  
вспомни и обо мне.

\*\*\*

Любовная речь — детский лепет,  
что стоном кислотным пропах.  
Оставил я спать те скелеты  
в запаянных глухо шкапах.

Но вставшим с перины чудесной  
флаг в руки и флягу в трусы.  
Пусть бодрые спиричуэлсы  
поют им дворовые псы.

Пусть в каждой иголке, гвозде ли  
огня бьётся острая нить,  
ведь тех, кто друг друга раздели,  
не так-то легко разделить.

И тех, кто едину соль ели,  
не сманишь пустым сахарком.  
(Пока погибает Сальери  
немотствует Моцарт тайком.)

Пусть шаг будет тверже, слух тоньше,  
пусть звери им будут — свои  
и пусть ни один не слутошит  
дотошный их поисковик.

Пусть им на кабине сортирной  
поэт посвятит лимерик,  
не тронет их жалом сатирик  
и радостно встретит старик.

И слух о любви их столетней  
воткнёт в уши дурней и дур  
стрелявший из двух пистолетов  
по ним вездесущий амур.

Минуй их любая оплошность,  
расход обойди и распил!  
Но их накрывает обложкой  
со словом уютным «Шекспир».

\*\*\*

Не спеши — твой стих не спишут,  
у тебя во власти он,  
а за спинами — всё спин же  
непролазный бастион.

Что ты скажешь этим спинам —  
прямызна их так горда —  
пусть, как по древесным спилам,  
будут по стихам гадать.

Ты суров и несговорчив,  
всё что за спиной твоей —  
слово спинномозговое —  
не молчанья рыхлый клей.

Встань спиной к спине со смертью,  
шаг дуэльный вспять направь,  
не рассчитывай — посметь бы,  
смей! — и напролом и вплавь.

По тоске, кривой, свекольной,  
неслучайной рифмой вдарь  
и смотри уже спокойно  
в спины уходящих вдаль.

\*\*\*

Торшер горит весьма нелестно  
(не для меня, а ночи для).  
Моя пожухлая телесность  
не жаждет наступленья дня

с его ощером кривоватым  
который сквозь посредство глаз  
мой свет неровный, прикроватный  
стремится обесмыслить враз.

Мой красный свет, куда летим мы,  
ломая тишины редут?  
Кто наш полёт нелегитимный  
подвергнет радостной редук-

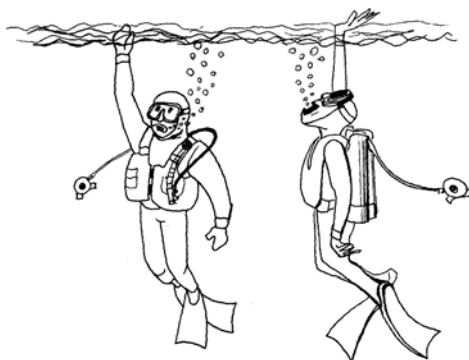
ции и остановит,  
и невозбранно перервёт,  
когда легок и костоломен  
в молчанье звука перевод?

Всё это дело пары суток,  
но нежеланье мне зачти  
уснуть, проснуться, сполоснуться  
и миром полоснуть зрачки.



Нина Горланова

## Роман с искусством



\*\*\*

Она всегда знала: он ее бросит, и не расколется небо, не вылетит из трещины стайка ангелов, чтоб подтолкнуть ее и его друг к другу, ни один человек в мире даже не заболит, ну — разве что — разобьется одна чашка (просто выпадет из рук), а все остальное останется в целостности сохранности, слава Богу, потому что в этом сохранившемся мире она и построит свою семью — с другим...

Да, так все и случилось.

Она — это я.

А была я такой...

И вот что через 45 лет хочу сказать. Если б я вышла за него, за горячо любимого своего физика, я бы ничего не написала — ни

одного романа, а только смотрела бы ему в рот, была бы рабой любви. И даже если б разочаровалась в своей любви, я бы не смогла уже стать писательницей (для кого?).

А неразделенная любовь гнала меня к белому листу! Буквально! Я думала: уж он увидит, кого потерял, он пожалеет...

Пришла пора, и новые горести бросали меня к письменному столу.

Дело в том, что в нашей семье было четверо детей и еще пятая — приемная девочка. С шести до двенадцати лет. Ее выставка всесоюзная, в 1984 году в Тбилиси, покорила многих, и нам удалось выхлопотать на ее имя комнату.

Слово «приемыш» нынче считается обидным, но я его использую, потому что девочка нас после этого предала — ушла

к родной тете. Мы эту тетю шесть лет в глаза не видели, поэтому говорили:

— Ей нужна только твоя комната!

Но тетя пообещала ей джинсы, а джинсы в те годы были, как сейчас — мерседес...

Я безмерно страдала от обид и в то же время скучала без любимицы своей, начала даже писать картины, чтоб побороть депрессию.

Ну и роман! «Роман воспитания». Его мы с мужем вместе стали набрасывать. Всю правду хотели туда вложить — всю горечь. Сколько было бессонных ночей, болезней, операций, сдавали обручальные кольца и альбомы по живописи, чтоб добыть деточке путевки в санатории... и все закончилось предательством!

Но текст не шел! Получалось нечто обличительное... Даже юмор потеряли. И тогда я сказала:

— Давай не будем о грустном. Начнем с хорошего! Много ведь было и хорошего.

И роман пошел. Даже полетел! И не нужно думать, что мы исказили — приукрасили жизнь. Наверное, в душе Насти (в романе она Настя) было больше хорошего! Иначе как бы она могла писать прекрасные картины! Просто на поверхности не все заметно, не все явлено.

\*\*\*

С «Романом воспитания» мы оказались на букеровском банкете. И за столом разгорелся спор об интеллигенции. В том числе прозвучало такое:

— Все, кто ничего не добился, называют себя интеллигентами.

— Но, — возразила я, — Манделштам не был успешным при жизни, а теперь по праву считается лучшим поэтом XX века! Трудно вообще представить, какие картины были бы у Ван Гога, стань он успешным при жизни.

Цена за искусство часто бывает очень высокой, художник (поэт) расплачивается самой своей жизнью (смертью). И эта цена — как ни ужасно это звучит — входит потом в цену картин. Просто человек (зри-

тель, покупатель) не понимает, зачем мазки шли направо или налево, отдельно или нет, но он отлично понимает, что судьба была трагичной, что все отдано искусству, поэтому готов дорого заплатить за билет на выставку или за картину на аукционе.

\*\*\*

Аспирантка, пишущая диссертацию по моей прозе, спросила про стратегию успеха. Никакой стратегии успеха у меня не было: все так просто — с утра нужно помолиться и сесть работать. А когда рассказ (роман) написан, послать его в журнал. Или на конкурс. Поскольку в стране есть некоторое количество людей, любящих литературу, то есть журналы и издательства.

Одна журналистка, помню, начала конкретизировать вопрос: а если написать для денег, для кино, для Запада? Так в годы застоя я получала письма от редакторов журналов, где просили написать о комсомольском лидере, который может повести за собой массы.

Человек, который сам не пишет (не рисует и так далее), все равно не поверит, что в том-то и дело, что мы работаем не совсем сами, кто-то свыше помогает все время. А помогает только тогда, когда цель — не деньги, не успех, а желание понять, что случилось, или желание передать свое тепло читателю (зрителю). Это и называю я вдохновением.

А ведь были у меня случаи, когда острая нужда в деньгах заставляла писать исторический роман, но оказалось, что князь Владимир Красное Солнышко закусывает помидорами (которые появились-то у нас всего 200 лет назад) — ни разу у меня ничего не получилось, потому что думаешь-то только о деньгах, и деревянные слова, что выходят из-под руки в этот миг, никого не согреют, не сделают умнее.

Массовая литература основана на подтверждении стереотипов. Детектив или любовный роман дают то, что известно, чего читатель ждет. Надо вам Золушку — вот вам Золушка!

А художественная литература создает новое (содержание, жанр, стиль). Новое не может быть воспринято всеми сразу, оно по определению не может быть успешным (исключения — подтверждение правила). Известно, что во времена Пушкина любили больше Булгарина, а во времена Чехова — ценили сильнее Потапенко.

Однако недавно я (для ответа на вопросы аспирантки) залезла в старые дневниковые записи и вдруг нашла буквально расписанную по пунктам «стратегию успеха»! Из советского 1980 года! Вот она:

1. Быть в резонансе со временем (не с властью, а с народом, его болью).
2. Быть самой собой, никому не подражать.
3. Все читать, чтоб знать, кого обогнать (или хотя бы не повторять).

Получается, что в свое время я сформулировала какие-то правила для себя, но все же имелся в виду успех не денежный, нет, целью было — состояться как автору.

Я пишу, потому что верю: литература нужна, она готовит почву для того, чтоб человек стал лучше. Всего лишь готовит почву, но какая это нужная работа! Я сама сколько раз спасалась литературой. В последний раз — рассказом Дины Рубиной «Мастер Тарабука». Я была в ссоре с очень близкими мне людьми, когда прочла в «Новом мире» эту вещь. Что со мной стало! Я остро почувствовала, как хрупок мир, а я-то в ссоре... и тут же я стала звонить, мириться, извиняться. Спасибо рассказу!

Королев (авиаконструктор) говорил: жаль, что нельзя послать в космос Лермонтова (сухие отчеты его не устраивали).

Космонавтам (с Земли) читали юморески: Жванецкий и другие. Нужна литература! Так можно было снять стресс у людей, заброшенных в далекий космос.

Есть известная история, как во время войны ранило летчика, и он думал, что не дотянет до нашего аэродрома, но по радио передавали «Синий платочек» Шульженко, и он дотянул... А песня написана на стихи, то есть — спасла литература!

Я всегда говорила, что человек, знающий литературу, более нужен в дружбе (с ним есть о чем поговорить), в любви (он и в люб-

ви объяснится ярче, талантливее), в семье (детям интересно с ним общаться). Он и в вагоне поезда хорош как собеседник, и в палате больничной сумеет утешить кого-то, отвлечь стихами.

Литература служит другим видам искусства! По Ремарку ставится балет, по Трифонову — фильм (нужна литература). Скульпторы ставят памятники писателям! Уже и в Японии открыли памятник Чехову!

Я знаю много историй о том, как литература исцеляет больных. Буквально. От смертельных заболеваний, от стрессов. Хакамада рассказала, как в юности хотела покончить с собой, но перед этим решила написать прощальное письмо в стихах. И написав его, расхотела уходить из жизни.

Моя мама (она работала кассиршей) в советские годы как-то сказала про Райкина-старшего: «Его слушаешь — все плохое отойдет от тебя!»

Вообще мы не помним, кто был королем при Шекспире! В веках остается только искусство и литература. От Перми не останется ни «Лукойла», ни «Моторов», а может, только стихи Леши Решетова.

Ученые поставили эксперимент. Две группы одинаково больных поместили в разные палаты. У одних был вид из окна — на цветущее дерево, у других — на бетонную стену. Первые быстро выздоровели. Анализы и приборы это показали. Наука! А Достоевский знал это сто лет назад: «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым!» Так что литература обгоняет науку в своих интуициях. Эйнштейн говорил о том, как много дает ему Достоевский!

Бродский писал: лучшее, что есть у нации, — язык нации, а лучшее в языке — это литература на этом языке.

На том букеровском банкете переводчик с английского рассказал нам, как он две недели пытался перевести одно имя «Цвета» (из «Романа воспитания»). В «Цвете» есть и цвет, и цветок, и неграмотность девочки, не могущей выговорить имя «Света». А в английском Флер — это точно цветок... как быть? Он отказался от перевода. Но тем не менее года новые переводчики берутся переводить —

и тоже оставляют работу незаконченной... Я же не теряю надежды, что когда-нибудь кто-нибудь доведет перевод до конца.

Иногда литература делает что-то престижнее. Так квартиры стоят дороже в доме, где вывеска: «В этом доме жил Бунин».

Литература и судьба читателя — как часто это связано! На меня в юности большое впечатление произвел рассказ Аксенова «Маленький кит, лакировщик действительности». Такого ребенка мне хотелось иметь, так с ним общаться... Поэтому я родила так много детей. А они стали моими помощниками в работе: приносят сюжеты и словечки, критикуют написанное, замечают оплошности или длинноты. Спасибо Василию Аксенову!

Если б искусство было всего лишь наркотиком, как Фрейд считал, оно бы не давало новой информации (наркотик дает только то, что уже есть в личности). Правда, потом Фрейд более высоко оценил искусство, когда Фрейд и Эйнштейн написали, что искусство снижает уровень агрессивности (против войн).

Искусство — единственный на свете вечный двигатель. Богатство смыслов в каждом произведении только увеличивается! «Спит земля в сияньи голубом» стало еще и образом из жизни космонавтов, хотя Лермонтов о них и не подозревал.

Мамардашвили считал, что искусство — не украшение жизни, а орган жизни («О Прусте»). С его помощью мы чувствуем высшее: Бога, идеи и т. п. А еще раньше о шестом чувстве написал Гумилев!

— Никакой отдельной жизни нет, а есть только искусство! Жизнь — часть искусства! Она символична в каждом проявлении, поэтому она — искусство (Вячеслав Букур).

Литература уже жизни, но пронзительнее. Жизнь — как первобытный океан, она булькает, а литература — это настоящие организмы с богатым строением.

А символична жизнь, потому что она пропитана магией, которая с первых дней нянчила человека. Когда пришли религии, они стали пропускать магию через себя, вырос новый слой.

Приятель мой считает: Достоевский сам был в душе подпольным человеком.

Я же никогда так не думала, потому что подпольный человек не может написать гениальных произведений!

Федор Михайлович был так мудр и добр, что понимал и видел все.

Думаю, это у него от счастья — он ждал казни по приговору суда, а ее заменили каторгой! И счастье надолго его осветило (см. письмо брату об этом). Вот свет этот и позволял ему понимать и видеть все (хорошее и дурное в людях).

\*\*\*

Фотограф спросил, глядя на мои разбросанные записи:

— А как вы знаете, какой отрезок нужно взять?

— А кто-то свыше подсказывает.

— А нам тоже кто-то подсказывает, когда щелкнуть.

\*\*\*

Дневники писателей очень нужны! Я Шварца («Живу беспокойно») читала раз семнадцать, ежегодно почти... они меня успокаивали перед сном. И некоторые истории (про то, например, как Шостакович спас незнакомого человека) меня вдохновляли, а некоторые много объясняли: например, почему жена ушла от Заболоцкого.

Мандельштаму раем бы показалась каторга Достоевского, ведь на каторге дважды в неделю давали мясо, да еще крестьяне приносили передачи как христиане.

Когда наши соседи по кухне (сильно пьющие) не дают нам жить, мы думаем о Достоевском — ему на каторге труднее было, может — таких соседей слишком много было.

Очень шумели соседи-девушки. У них все время юноши, пьют, матерятся, коридор прокурен, бегают, кричат, хлопают дверьми... Потом видели мы в десятый раз «Идиота» — скандалы у Достоевского мужу показались чрезмерными. Я говорю: а эти соседи?! Они же точно такие!

\*\*\*

— Мандельштам — инобытие Гомера. Он — возрожденный вечный поэт. (Слава Букур)

\*\*\*

Рассказ Трифонова: Шагалу показали репродукцию его старой картины. Он воскликнул:

— Каким нужно быть несчастным, чтоб это написать!

Мои рассказы припахивают горелым: если курица варилась, а рассказ пошел, то курица выкипит и пригорит... Видимо, это священная жертва рассказу.

\*\*\*

Я думаю, что поэзия нужна человеку — ребенку — с первого дня (мама поет колыбельную), а возможно, еще и при зачатии он (она) слышал, как папа читал маме стихи любимого поэта.

Поэзия нужна — чтоб стало легче, чтоб мы не умерли от трагизма жизни (Ницше).

Поэзия нужна, чтоб стало труднее, чтоб мы запомнили какой-то момент жизни (с волнением прочтя о нем, перечитывая) — это сказал Шкловский.

Поэзия нужна, чтоб сохранять себя как свободную личность. Ведь она — ворованный воздух (Мандельштам).

Поэзия лечит — моя учительница вылечилась от рассеянного склероза, когда выучила поэму Решетова «Хозяйка макову» (она решила — значит, нет такого диагноза, раз смогла выучить).

Поэзия нужна, чтоб песни сочинялись на стихи, чтоб гимны были, чтоб в детстве дети усваивали из стихов прелесть родного языка.

Ну, Достоевский написал «Бесов», а революция все равно случилась. Значит, писатель не влияет на жизнь общества, а только на личность. Но и не всякую личность!

Следователи НКВД, которые вели дело Мандельштама (Гумилева, Пильняка, Бабеля), тщательно все читали — и становились все хуже. Поэтому возможен такой герой, как в «Кыси» у Толстой (читал и становился хуже).

\*\*\*

Слава так любит космонавтику — говорит:

— Я бы всего Чехова поставил в скафандрах. Они в комнате ходят в комбезах космонавтов, а если пришли с улицы, то снимают скафандры или шлемы.

— И даже «Вишневый сад»?

— Тем более. Деревья будут с какими-то щупальцами. (Причем Лопахина сад особенно часто пытается утащить — ходит Лопахин поэтому с топором, входя в дом, отряхивает присоски щупалец.) В конце одно утаскивает Фирса после слов: «Эх ты, недотепа!» Чмок, и утащило... И иногда после разных реплик, второстепенных. «Лошади поданы» — чмок, щупальцы ухватили и унесли наверх. Время от времени деревья прорастают в дом, с ними борются... дом трескает, а Раневская все: «Садик мой вишневый! Как я тебя люблю!» В конце дом заваливается.

\*\*\*

С экрана спросили: какими двумя словами можно определить Ван Гога? Я сказала в экран: «Страстность и трагичность». А мои картины — какими словами? Яркость и парадоксальность (страус еще и автопортрет: то я голову в песок, то побегу-побегу и много успею сделать).

\*\*\*

Говорю мужу: «Как странно, что ты — глубокий меланхолик, интроверт, готовый сутками лежать с книгой, — любишь Стравинского с его бешеными ритмами». —

«Потому что я его представляю в виде пульсирующего кристалла, который я сразу могу охватить всем существом».

\* \* \*

Говорят: любовь начинается с удивления. Думаю, в том числе и любовь к рассказу (к повести). Но почему же в последнее время хочется начинать обычно, как у Чехова? Наверное, потому, что только в молодости любят за что-то удивительное, бьющее. А в зрелом возрасте любят за человечность, за понимание.

— Чем хороший писатель отличается от плохого? Он больше любит всех. А мир-то одинаков вокруг плохого и хорошего писателя. (Вячеслав Букур)

\* \* \*

Грабарь просил Эйзенштейна дать честное слово, что кино есть искусство. (Тот дал честное слово, и Грабарь открыл в Академии отделение.) Кто-то бы дал мне честное слово, что мои картины — искусство... Слава считает, что сирени у меня вообще пошлы. Но тут по ТВ мелькнула «гора» Сезанна, и все мои картины поблекли. И только сирень выдержала...

\* \* \*

«Черный квадрат» Малевича — предупреждение: к чему может прийти человек, отрицая. Анτισвет. Антиикона. (Букур) А я думала: Черный квадрат — это размышление о грехах: как у Мандельштама («Все одинаково темно; все в мире переплетено моею собственной рукою» или «Там, где эллину сияла красота, мне из черных дыр зияла срамота»).

А еще я видела передачу про лоскутное одеяло, и там прозвучала примерно такая фраза: черный квадрат в центре одеяла словно удерживает каким-то силовым полем

все разноцветные лоскутки. Может, у Малевича в детстве было лоскутное одеяло с черным квадратом в центре.

\* \* \*

Муж искал детали для рассказа и говорит: «Ты слишком всех маскируешь!.. Уж сразу пиши: «инопланетянин Н. задумчиво перебирал щупальцами».

\* \* \*

Муж готовит обед. И входит ко мне с половинкой синей луковицы:

— Такую красоту можешь в натюрморт добавить? (я вчера написала фрукты на черном столе).

— Ты думаешь, что я — Веласкес?

— Нет, я так не думаю. У тебя в «Исцелении бесноватого» нет ощущения священного ужаса. А у Веласкеса всегда есть.

\* \* \*

Пересмотрели «Дядю Ваню» со Смоктуновским. «Профессор — сплошная воля без таланта, а дядя Ваня — талант без воли». (Вячеслав Букур)

\* \* \*

Вот живешь, очень любишь Гамлета, много о нем думаешь. И вдруг — как гром среди ясного неба — абсолютно новое объяснение пьесы! Оказывается, для Шекспира Гамлет — олицетворение истинной католической веры, а король — англиканства. Кто был прототипом Полония, современники отлично понимали. Я же понимала пьесу в духе Просвещения: настоящий гуманист долго раздумывает, мстить — не мстить. И когда мстить и как? Это все вот к чему веду. Нам говорят: почему у вас так много современных бытовых конфликтов в рассказах,

писать нужно о вечном! Но нет, нужно, как Шекспир, писать только о том, что мучает и волнует. А вечные смыслы образуются как-то сами, волшебным образом.

Иногда искусство создает идеи, которые обгоняют науку («зорб» у Босха?). Для научных открытий нужно уметь мечтать, а что лучше развивает мечтательность — конечно, искусство!

Пермский поэт Алексей Решетов читателя ставил выше автора: мол, тот может привнести в стихотворение то, что сам поэт даже и не вкладывал. Есть ли еще в мире такой щедрый к читателю автор?

\*\*\*

— Чтение настоящей литературы требует сил.

— Нет, чтение настоящей литературы должно давать силы. (Я)

\*\*\*

Пелевин пишет: «Слова ведь одни на всех, и кто только не пробовал складывать их так и эдак». Нет! Слова не одни на всех. Для каждого каждое слово — не одно и то же! Я не использую слово «духмяный», а кто-то вполне его считает нужным для книги своей.

\*\*\*

Раньше я не хотела читать мемуары. Мол, энергия поступает только из художественного текста. А теперь считаю, что истина важнее энергии.

\*\*\*

— «Дон Кихот» — это книга о том, как пермский интеллигент столкнулся с конкретными пацанами. (Друг дома.) Хороший сюжет для современной повести.

\*\*\*

Юра Фрейдин на вечере Натальи Горбаневской сказал мне:

— Слежу за вашим творчеством. Начните писать добрые сказки, и вокруг все изменится. Сосед утихнет.

А рядом со мной стояла Людмила Улицкая. Она говорит:

— Юра, писатель может писать только то, что пишется.

И оба были правы. Дома я получила письмо от Яна, что нужны для «Экслибриса» сказки. И мы стали писать. И сосед молчал. Но через год сказки прекратились...

\*\*\*

Друг, на мой вопрос, какие стихи он считает хорошими: «А вот такие, которые в больнице переписывают». Рассадин сказал, что у него мурашки от хороших стихов, процитировал и Твардовского: хорошие стихи прочтут люди, стихов вообще не читающие. А для меня хороши те, которые запоминаются сразу. Или те, которые хочется перечитывать много раз.

\*\*\*

Послушала Костю Райкина. Он говорил про энергию зала, которая подкачивает актера («вольтова дуга между залом и сценой, экстаз взаимопонимания»). А литература бескорыстна. Она дает читателю энергию, ничего не требуя взамен. И дает так много: читатель со-творец — он и артист, и режиссер, и художник по костюмам (может и музыку подложить под действие, которое воображает, создает сам). В это время читатель занимается невольно арт-терапией, излечивается от некоторых комплексов.

Читатель со-страдает герою! То есть страдает в снятом виде. И становится чище. Без страдания не стать чище, но кому пожелаем страдать? Никому. Зато пожелаем со-страдать.

\* \* \*

Недавно видела нашу приемную дочь в стоматологической клинике. Она сделала вид, что меня не узнала. Это ветряная мельница, которую мы приняли за великана.

\* \* \*

— Винни-Пух — это вечный образ, это Обломов. (Слава Букур)

\* \* \*

Обсуждали «Крейцерову сонату». А я ранее возмущалась, что Достоевский со своей падучей сделался гением, а Мышкина свел с ума, так в «Крейцеровой» не по сердцу мне, что Лев Николаевич героя сделал убийцей. Я бы так не могла. Но ведь говорил же Игорь Виноградов: «Горланова — не Достоевский».

\* \* \*

Читала в «Звезде» отрывок мемуаров Вячеслава Иванова о Пастернаке. Там Пастернак два раза заводит с Вячем разговор о строке Бодлера, что только страдание прекрасно, только из него рождается настоящее искусство... а потом удивляется — Стасик в порядке, а играет талантливо... (он не считал, что Стасик — сын Зинаиды Николаевны от первого брака — переволновался, когда мама металась между отцом Стасика и БЛ)...

У Пастернака «Старость — это Рим, который»... из Мандельштама, я думаю («Природа — тот же Рим...»).

\* \* \*

Вчера по «Культуре» слышала трактовку «Авиньонских девиц»: мол, это такое «Искушение Св. Антония». Я когда-то думала, что публичный дом огрубляет женщину, и это

отразил Пабло. Потом думала: африканские маски вместо лиц выражают идею: проституция — это осколок первобытного обряда промискуитета. (Есть у жриц любви примета, что первого клиента надо обслужить бесплатно; после этого будет большое изобилие.)

\* \* \*

Возрождение — это что такое? Древнегреческим искусством заинтересовались потомки варваров, в свое время разрушивших Европу почти дотла. Может, и потомки нынешних мигрантов заинтересуются искусством Европы.

\* \* \*

Спросили, почему я больше написала рассказов, чем романов. Но это от нас не совсем зависит. Мы часто хотим написать повесть или роман, а в итоге получается рассказ. Но, правда, Вениамин Смехов написал, что каждый мой рассказ — «это микророман, как у Чехова».

\* \* \*

Анекдот. Из сумасшедшего дома один позвонил в банк: «Вы даете кредиты сумасшедшим?» Пауза. Затем: «Даем. Но под сумасшедшие проценты». Это про людей искусства — часто им приходится за все расплачиваться сумасшедшими процентами.

\* \* \*

Писатель и инсульт. После инсульта как магнитом тянуло за компьютер, казалось (буквально — видение): там прекрасные цветы! Это буквы, слова, словарь, язык — возможность составлять из них букеты — предложения. Кроме того, я всю жизнь мечтала написать стихи, близкие Некрасовскому «Вчерашний день, часу в шестом».



И только после инсульта (во время выздоровления) они явились:

*Хожу по коридору  
инсультного отделения  
и мажу всех маслом  
святой Ксении,  
приговаривая:  
я тоже здесь лежала —  
скоро и вы  
пойдете ножками!*

\*\*\*

— Женщины у Модильяни — как плоды с дерева. Слово есть дерево, на котором растут эти женщины. Слово, если повернуть, между лопатками у каждой есть черешок, которым она прикреплялась. (Вячеслав Букур)

\*\*\*

Сны эпохи капитализма! Видела: изобрели два в одном — духовная пища соединена с обычной. Это такой суп из болгарского перца. Когда его начинаешь есть, в голове показывают кино, которое есть спектакль по роману «Война и мир». И я говорю мужу во сне: «Все-таки это мне не по душе, процесс поглощения супа мешает углубиться в фильм — лучше бы все отдельно!»

\*\*\*

Мое хокку:

*Вот и Мандельштама уценили  
До 30 рублей!  
Когда бы грек увидел наши игры!*

\*\*\*

Моцартов в прозе не бывает. Никто в пять лет ничего гениального не пишет. Все-таки литература сложнее музыки.

\*\*\*

Литература — удочка, которой мы улавливаем прошлое. (Я — в разговоре с другом)

\*\*\*

Посмотрели сериал про Ахматову. Там она говорит, как отличить подлинный талант от неподлинного. На травле Ахматовой один критик построил двухэтажную дачу. У каждого подлинного таланта есть свой зоил, свой Плоткин, говорила Анна Андреевна. У меня — М. А. Да и те, кто устроил суд надо мной. Муж говорит: «Работают над твоей подлинностью».

\*\*\*

Видели программу об Эрнсте Неизвестном. Я задумалась: Хрущев боялся непонятного искусства? Так первобытный вождь боится непонятного, которое магически разрушает все, в том числе его власть. Он тут же начинает свою магическую атаку: «Пидорас!» То есть: ты неспособен к увеличению рода, урожайности, я тебя уничтожил. Эрнст принял на время правила игры и на том же уровне ответил: «Давайте приведем баб, посмотрим, кто больше вы...ет».

\*\*\*

4 августа 2008. Умер Солженицын. Сколько нам он дал в свое время, нашим юным умам! И снился мне как герой (об этом рассказ «Значок С»)... Когда во время перестройки первый фильм — интервью? — из французского ТВ показали у нас, я заплакала все время показа (от счастья). Его спросил журналист: «Что вы сказали бы Богу при первой минуте встречи?»

Я сразу подумала:

— Господи, благодарю Тебя!

А он отвечает:

— Господи, прости меня!

Солженицын, идя направо, пришел на-лево. Он искал язык древних корнесловий и пришел почти к тому же, что и Хлебников: темной зауми.

\*\*\*

Вчера прочла книгу Вирджинии, второй жены Шагала. Просто удивительно: если он побил ее, так она что, вернется в брак, как в стойло? Помимо некоторого разочарования в Шагале, я поняла, что для известности живописцу в самом деле нужно жить в Париже и очень-очень много делать всего для пиара. И Шагал делал. Это ни хорошо, ни плохо, но для меня уже недоступно. Странно, но от этого желание писать картиночки у меня не исчезло. Слава предлагает написать «Жили у бабуся два веселых гуся»: один гусь в очках, другой — с бабочкой. А бабуся с плеером. И еще сюжет: «Я защищаю Вирджинию от удара кулаком Шагала, бросая его через бедро».

Вирджиния приводит диалог о картине Марка Шагала, цитирую по памяти:

— Как объяснить, что все вверх ногами?

— А не надо ничего объяснять, и без слов всё нравится. Ты же видишь, что это прекрасная картина?

— Я вижу, но мне все же нужны какие-то слова, объясняющие, почему это хорошо.

— Тебе нужны слова — ты их и придумывай. А мне и так хорошо.

\*\*\*

Гете говорил: гений, кроме таланта, должен получить великое наследство. Приводил пример: Наполеон получил в наследство французскую революцию, а сам Гете — теорию света Ньютона, что ли.

Пушкин получил в наследство победу в войне 1812-го года.

А Булгаков — что? Опыт гражданской войны — невиданный по силе?

А я получила в наследство оттепель, 20-й съезд, свободу некоторую.

\*\*\*

В юбилей Чехова президент Медведев летал на родину писателя — в Таганрог (цветы возлагал и т.п.). Он взял с собой только режиссеров, то есть хотел через них и театры влиять на избирателя.

\*\*\*

Рубинштейн Г.В. мне написал, что Платонов не был дворником. А я ответила, что если б был, то гения не унижает ничто. В этом смысле гений и простой человек — равны: никого не унижает труд.

\*\*\*

Когда обсуждали мой суд, Кальпиди сказал: «Надо было тебе, мать, в поэты идти. На поэтов в суд не подают, их вообще не принимают».

— А Бродский?

\*\*\*

Один человек говорил на выставке: здесь нет вечности, а вот эта женщина — вечно идет.

Я подумала: у меня тоже в некоторых картинах рыбы вечно плывут, цветы — вечно цветут, но в большинстве именно миг неповторимый видится, и это тоже здорово. Монументальность хороша в небольших количествах.

\*\*\*

Прочла в «Логосе», что Витгенштейн, получив большое наследство, 100 тысяч марок отдал писателям и художникам (Рильке, Кошке и др.). Так и хочется сказать: спасибо! (от имени Рильке).

Витгенштейн говорил: «Хочется, чтоб моя философия что-то улаживала, приводила

в порядок». А нам тоже всегда хотелось, чтоб наша проза что-то улаживала, прояснила про душу человеческую.

\*\*\*

Хемингуэй считал, что несчастливое детство — лучшая школа для писателя. Но, возражаю я, несчастливое детство у многих, а писателей маловато... значит, дело не в этом.

\*\*\*

Из дневника Толстого, от 27 июня 1894 года: «Вспомнил знаменитое Колечкино изречение, что критика — это когда глупые говорят об умных». (СС, т. 19, стр. 503, Худлит, М., 1965).

А я считаю, что критики много мне дали!

\*\*\*

Флобер: «О книге судишь по силе тумака... и по количеству времени, какое нужно, чтобы прийти в себя». А я после хорошей книги хочу бежать к друзьям и дарить подарки.

\*\*\*

«Всечеловеческого или всезаячьего свойства» (критик Михайловский написал о Достоевском — в своем смысле я эти слова хочу использовать — для себя, чтоб меньше всезаячьего в себе оставлять, не трусить и посылать острые рассказы).

\*\*\*

Разбирала архив. Нашла рецензию С. На мою прозу. «Положительных героев меньше, чем отрицательных». Так это не электричество — заряд положительный, заряд отрицательный.

\*\*\*

Поэт Р. свято относился к поэзии — Баркова не признавал. А матерился сам порой! Как всякий мужик, который в шахту спустился!

\*\*\*

Верный признак настоящего поэта: если он может написать стихи о любви!

\*\*\*

Лица у пермских «богов» не прекраснo-итальянские, а косенькие, уральские. От этого их еще больше жалко, еще больше любишь... А номера эти страшные инвентарные, которые на руках-ногах скульптур! Прямо получились узники советского ГУЛАГа искусств.

\*\*\*

Продолжаю коллекционировать определения гениальности. Слышала по ТВ: гениальность — это терпение: ведь нужно искать и находить, снова искать и снова находить. Так еще Нина Заречная считала: главное — умение терпеть. Талант от неприятностей запьет и погибнет (или бросит от отчаянья трудиться), а гений будет терпеть да работать.

После фильма «В бой идут одни старики» один юноша-преступник, скрывавшийся в кинозале, пришел в милицию и раскаялся в своем преступлении. Это уникальный случай прямого воздействия искусства на жизнь.

И все же игра на понижение давно идет. Я могу сказать, от кого надо спасать культуру. Даже не от чиновников, которых легко сменить. Спасать придется от засилья массовой культуры. И если после смерти Ван Гога его картины были спасены и стали занимать свое место в лучших музеях мира, то гени-

альные картины Ситникова недавно выбросили в мусорку после смерти художника, потому что настоящее искусство не в цене, в цене только то, что продается (и хорошо продается). Не случайно появилось слово «правдёнка» — так называется правда в сериалах. Имеется в виду убедительность. Русский язык всегда найдет суффикс, чтоб выразить свое презрение. И слово «тираж» появилось недавно. Тиражи упали.

Массам нужны мифы — они регулируют поведение, поэтому внутри мифа так уютно, там все известно, там золушка всегда станет принцессой. А с другой стороны, в истории остаются только шедевры. Масскульт не остается. Раневская говорила: «Искусство и прыщ вскакивают всегда на самом неожиданном месте».

\*\*\*

Филонов мечтал, чтобы картина висела без гвоздя. А Слава Букур мечтал лет 40 назад, чтобы рассказ повисал перед читателем, минуя книгу. И интернет исполнил его мечту.

\*\*\*

Ангел-хранитель читает за моим плечом.

\*\*\*

Слова из литературы часто сбываются. Мой друг поэт Юрий Власенко написал двестише: «На тот свет / Из этой темноты». И умер...

\*\*\*

— Нина! Только не вставляй это в литературу!

(Уру-уру, как говорит в таких случаях муж, напоминая об анекдоте: «Только не бросай меня в колодец... одец...одец...»)

\*\*\*

Дети наши играли, и нужно было назвать собак из литературы. У меня всплыли Муму, Белый Бим, Белый Клык, Шариков, Собака Баскервилей, Банга (у прокуратора), Каштанка, Лев и Собачка, Слон и Моська, дама с собачкой, Верный Руслан, «Как я съел собаку» (Гришковец), даже пес Артамон (Бурадино) и «Дама сдавала в багаж...» В конце концов я назвала черного пуделя из «Фауста» — и победила.

Кузя, Мурка, котятка, черепахи, крысы, мыши, паучки, двухвостки, мокрицы, а также моль фруктовая, которая вылетела из мешка яблок, насушенных девочками у бабушки, — все это тоже идет, конечно, в прозу у меня! Правда, моль фруктовая пошла уже не в литературное дело, а застыла на груди — на месте сердца — свеженаписанной маслом пресвятой блаженной Ксении Петербургской (моей самой любимой святой!). Так она там и осталась как элемент целого... Видимо, так зачем-то было нужно, чтоб крохотный сей мотылек там оказался (ибо и других святых я писала, и вообще каждый день почти пишу, но на другие картины мотыльки не садятся!).

Все живое — от гриба чайного до плесени, найденной внутри картофелины (которая была прекрасна, как все живое — я имею в виду плесень, ярко-голубую)... идет в прозу, пригождается. Хотя в жизни оно требует немалых хлопот и усилий. Котят, например, надо продавать! (Всего мы уже за чисто символические копейки продали около восьмидесяти котят от двух кошек.) И надо терпеть, когда кошка учит их ночами ловить мышей (ночи напролет с дикими криками они носятся по дому!). К тому же они то прописают все мешки с записями, то сама кошка сжует главу романа, делая вату для гнезда... И каждый раз это не шуточные проблемы... («А ты как хотела, мой маленький!» — восклицает на этом месте Роберт Белов, которому я горестно сие излагала)...

Один раз я принимаю у кошки Мирзы роды — трудно, котятка идет хвостами, тут же дети зовут меня на кухню: муха в грибе чай-

ном! Я прямо закричала: «Не могу же я всей природе помогать одновременно! Кошке — помогать рожать, грибу — делать напиток!» Естественно, что Мирза послужила прототипом многих кошек в моих рассказах. Но однажды она исчезла. Видимо, бомжи съели. Вскоре у нас появились Кузя и Мурка, про них написан рассказ «Мурка».

Да не обидится литература на то, что пригодилась для мира животных! У моей подруги крысика зовут Басё. А у Н. Н. черепахи Онегин и Татьяна: оба самцы! и притом каким-то образом покушавшиеся на невинность друг друга... чудны черепаши дела... у одной нашей дочери черепаха Машка оказалась самцом! И теперь ее переназвали! Она была Машка — стала Эрих-Мария Ремарк.

\*\*\*

Писатель Х.:

— Мечтаю встретить пришельца. Мне за шестьдесят — все уже видел: славу, деньги, три брака, рыбачил в Венесуэле, тонул на реке Вишере.

— Тут с людьми-то порой не знаешь, что делать...а еще пришельцы... (Я)

\*\*\*

Я сказала приятелю:

— Жена твоя напала на нас — не так мы описали одно событие...

Приятель ответил:

— Дети мне сочинили стишок:

*Папа-папа, не пиши!*

*Если пишешь — не пиши!*

\*\*\*

Марина Абашева: «Все вещи Горланобукуровские — рождественские! Там есть драматическое приключение, которое заканчивается светло». (Спасибо! Мы к этому и стремимся!)

На моем юбилее одну игрушечную звезду прицепил мне на пуговицу пиджака Паша Печенкин, всему залу объявив, что это «Рождественская звезда Российской Федерации». Так я с нею и выступала, принесла домой — на память...

\*\*\*

Получили письмо от критика Н. Я писала ему, что старческий эротизм героев в современной прозе уже изнурил меня как читателя. Он отвечает: «Автор может заблуждаться (и сильно), если он не забавляется и не выпрашивает призов».

\*\*\*

— И до самой смерти так буду писать.

— А может, и дальше. Там, может, пишут что-нибудь. (Слава Букур)

\*\*\*

Я говорю мужу: числят нас по провинциальному ведомству, якобы мы пермские авторы. А я упорно считаю себя российской писательницей.

— Ничего, через сто лет разберутся — китайские исследователи русской литературы, — ответил он.

\*\*\*

Я думаю: настоящее искусство — не один шаг (к читателю), а два — когда читатель еще бежит всем сообщать: это чудесная вещь!

\*\*\*

Картину старую (рыбы) я поправить хотела... а стало хуже!

Слава Букур:

— Гений — это тот, кто умеет вовремя остановиться...

\*\*\*

Все счастливые писатели счастливы одинаково, а несчастные — несчастны по-разному.

Счастливые на все гонения отвечают работой, свои обиды и комплексы перерабатывают в сочувствие другим.

Пушкина не любила мать, не любила власть, а он подарил нам столько гениальных томов!

У Толстого мать умерла рано.

У Достоевского рано убили девочку, с которой дружил, потом убили отца.

Гоголь был золотушный лет до шестнадцати, Чехов детство провел под тиранией отца.

И все они — классики.

А несчастные писатели-художники то уходят в запой, то подлизываются к власти, то ради денег напишут масскульт, то вдруг начинают искать врагов или пасти народы — во всех этих случаях талант съезживается... Как начинал Фадеев!..

(Правда, Гоголь и Толстой побывали в обеих стадиях — в конце стали пасти народы. Толстому мало было быть Толстым, изобрел свое учение, отказался от Господа... Гоголь тоже вообразил себя... — в «Избранных местах».)

\*\*\*

— Народ не создает, он излучает... (Слава Букур)

\*\*\*

Я и раньше встречала, что публика, ждущая смешного, смеется там, где все серьезно. Так П. в студенческом концерте читал Лермонтова, а зал знал его комиком и хохотал (тем более что П. от волнения потянул

за ниточку свитера и весь его почти распустил, когда тянул нить). Но вот впервые такое случилось со мной. Сначала я рассказала смешную историю, как мои дочери легли на снег, чтоб выяснить экспериментально, кого больше на свете — хороших или плохих людей. После этого зал смеялся уже все время! «Мы хотели написать повесть, хорошо знаем мир проституток, одно время у нас соседка по квартире была таковою». Хохочут! Я стала возражать: «Тут ничего смешного, мир их — непростой, там много романтической надежды вырваться в другую жизнь, но много и вранья»... Не помогает. Что бы я ни сказала: хохот. Где беру доски для картин? «Одно время моя подруга работала завхозом в школе и давала мне их в большом количестве». Начинают хохотать еще на слове «завхоз», как будто я не могу дружить с завхозом.

\*\*\*

Х. ругает Платонова: за коммунизм, за беспомощность в построении вещи, за насилие над языком. У самого Х. нет ни коммунизма, ни беспомощности, ничего, но нет и гениальности, вот в чем дело. А Платонов духовную составляющую любого человека так понимал, что выше его нет никого. Я всегда говорила, что Платонов выше Данте, выше Шекспира... И никакого, конечно, насилия над языком нет! Читала я том записных книжек Платонова: там такая же речь крестьян. Да и сама я в деревнях Акчим слышала подобное. И мои бабушки и деды примерно так выражали свои мысли.

\*\*\*

Читаю мемуары о Введенском. Он с сыном приехал к Друскину в гости. Друскин стал с ребенком заниматься, как чинарь: корову называть трамваем, трамвай — коровой. Введенский сказал: «Роди своего сына и воспитывай таким образом». Т. е. они думали, что своим абсурдистским творчеством

отражают послереволюционное время, но для своих детей хотели другого времени и другого творчества.

\*\*\*

Сны в литературе — отдельное счастье.

Какой сон снится чеховской Душечке, когда она замужем за торговцем лесом: бревна идут на них войной стоймя... А ведь образ шагающего леса еще у Шекспира был. Там в предсказании: мол, это случится, если Бирнамский лес сдвинется с места.

\*\*\*

По Эху говорят о беспорядках в Москве (Манежка). Тревога за друзей, за то, чтоб РФ не распалась... и в то же время висит моя новая картина «Святой Антоний проповедует рыбам» — такая яркая! Я говорю мужу:

— Как же получается? В стране ужас, а я пишу такие яркие картины! Почему?

— Чтoб накопить силы для выживания... Антоний проповедовал рыбам, а мы об этом узнали! Хотя рыбы ничего не говорили! Так и мы: будем писать птицам за окном, бабочкам, пчелам, и когда-то об этом узнают!

\*\*\*

Вечером смотрела ТВ, думала при этом о сказке, и вдруг в некоторых местах текста ее мысленно увидела зеленые листочки — они распустились на моих глазах! Это значит, что в некоторых местах нужно оживить яркими деталями, подумала я.

\*\*\*

— Нина! Если б я знала, что вы писатели, я бы так не откровенничала.

— Не беспокойтесь, мы все меняем: пол, рост, цвет глаз. Только планету пока оставим ту же самую.

\*\*\*

...сон, что я подаю свой рассказ «Любовь в резиновых перчатках» в виде блюда на стол. Там любовная линия Капы и Боба дается отдельно в виде мяса с салатом (зеленые листья), еще отдельно политическая линия (КГБ и пр.).

(Ранее мне снился рассказ «История озера Веселое» в виде дворника, который метет двор, — точнее это была дворничиха, в длинной юбке с маленькой головкой, как в карикатурах рисуют... то есть раньше рассказ должен был чистить жизнь, а теперь что получается — он должен насыщать?)

\*\*\*

Разговор с другом. Он сказал: над книгами Достоевского не плачут.

Слава Букур:

— Как плакать над тем, что деньги сгорели? Ганя потерял сознание, это все равно что коллапс и образование черной дыры. Не предъявляем же мы к черной дыре претензии, что из нее не идет свет. В ней — сверхплотная концентрация материи, а у Достоевского — сверхплотная концентрация чувств. Слезы — это разрядка, а он против разрядки чувств в этом мире... своими силами надо над душой работать, а не силами Достоевского.

\*\*\*

Посмотрели мы сейчас отрывок из «Гамлета» с Лоуренсом Оливье. Включили на том месте, где Гамлета послали в Англию. Слава: «Это был первый философский пароход». Никогда Офелия так не была актуальна, как сегодня. Ее монолог — это мой монолог: «Вот и знай после этого, что нас ожидает...» И через секунду — приступ оптимизма: «Надеюсь, все к лучшему?»

Так мы и живем: не зная, что нас ожидает и временами впадая в неестественный оптимизм.

\* \* \*

- Он ушел из газеты.
- Куда?
- В Толстые.
- А я не в Толстые, а подразумевалось, что в Лесковы. (Так говорили в Перми в 80-е)
- Ты не в Лесковы ушла, а в Горлановы.

\* \* \*

Дочитала книгу о Шекспире. Когда зять-доктор появился в их семье, медицина вошла в содержание пьес (это ли не доказательство, что он сам написал все)!

\* \* \*

Тост одного поэта на торжественном ужине:

- Женщина была ангелом. Увидела мужчин на земле: они ничего не умеют, писать не умеют. Она спустилась к ним, и они нашли, о чем писать...
- Я:
- Гениальный тост!
- Я вообще с детства такой.

\* \* \*

Один поэт (потомок скифов) говорит тост:  
— Осетины говорят: «Клянусь святым Георгием!» А еще говорят, что раньше св. Георгий говорил: «Мужчиной клянусь!» Чтобы мы были такими мужчинами, которыми можно клясться! И вообще, лучше мужчин-писателей Бог не создавал никого!

\* \* \*

Видели передачу про Розанова. Мы придумали проект памятника Розанову: в кустах он сидит на стуле и пьет чай из блюдца, а в другой руке — ложка с вареньем.

Мне часто снятся памятники писателям и литературным героям.

Памятник Мандельштаму — в духе пермских богов. Сидит — щеку рукой подпер, в больничном халате, халат — в полоску. Кажется, ярко раскрашен огнеупорными красками.

Однажды приснилось: в Перми на площади стоят камни с вырезанными на них стихами Пастернака и Мандельштама, Решетова и Кальпиди.

Как-то приснился памятник Алексею Решетову: поэт подвыпил немного, замер в полупадении — вперед наклонился, с раскинутыми руками. А Муза замахивается скалкой и протягивает свиток.

Достоевский, напротив, начинает падать в припадке, изогнувшись дугой назад, а маленький ребенок смело хочет его подхватить. Руки выбросил к спине Ф. М. Ребенок — в ночнушке до полу... не различить пол.

Был еще сон. Я в редакции «Урала», мне говорят:

— Вот за этим столом однажды сидел Чехов. Хотите сесть на минутку?

Я говорю:

— Так вы сделайте из проволоки силуэт, чтобы люди могли примерять, где была рука Чехова, где нога.

Проснулась и подумала: на скале, где снялся Пастернак близко к обрыву, можно тоже установить такой силуэт Пастернака, получится как бы дух поэта. (Это во Всеволодо-Вильве — см. фотографию Б. Л.) Будет похоже на силуэт человека, как его обводят после убийства. Но ведь советская власть убила его именно за «Живаго», в котором описана Пермь (Юрятин).

А еще можно сделать памятник Пастернаку в стекле: «Мы были музыкой во льду...» (он вырывается и стеклянного шара, локти в сторону, стекло треснуло).

Смутно явилась идея еще одного памятника Пастернаку — с метельными нитями возле фигуры («Мело-мело по всей земле...»). Видела во сне, что у Беллинга (абстрактное «Трезвучие») взяли идею для «Трех сестер» чеховских в Перми. Но под



зонтиками. Зонтики должны быть вывернуты ветром. Это ветер судьбы. А может, это ураган революции...

А Бродскому памятник: он сидит на чемодане, как на фотографии, где он перед эмиграцией.

Обэриуты сидят за выпивкой. Заблоцкий щеку подпер, Хармс цилиндр приподнял, Олейников карася на вилку насадил, а Венденский — кентавр с рюмкой...

Худой Платонов (под Джакометти) вкручивает лампочку, которая мигает. И лучше, чтоб он лампочку ввинчивал в мировое древо, а сам стоял на табуретке или на цыпочках (в неустойчивом положении). (Идея Славы Букура.)

Чуковскому — памятник в виде металлического дерева с туфлями, и из ствола лицо Корнея Ивановича вырастает.

Хлебников уверял, что между его глазами и буквами молнии проскакивали, когда он писал «Доски судьбы». Тоже бы памятник хороший получился (молнии сделать с помощью электричества). Или в виде маятника?

Памятник Чехову со срубленными цветущими вишнями. В каждой руке — загадочная маска.

Лев Толстой стоит возле трещины в земле (в виде змеи), с другой стороны трещины — колокол; каждый может ударить в него.

Три сестры на вокзале Пермь II, где уходит в Москву «Кама» — три огромные хризантемы со склоненными головами, а листья-руки в Москву — в Москву... Или уж лучше три фигуры на стене вокзала — сделать фреску в духе маньеризма: вытянутые фигуры.

Пушкину: бакенбарды, цилиндр, а лицо каждый будет просовывать свое, чтобы сфотографироваться. Примеряя к себе Пушкина.

А Гоголь — из прозрачного материала. Улыбка красная.

Видела по ТВ буквально синюю поленницу: дрова от ветра и дождя посерели и отливают синим, как деревянный дом у Шагала. Можно рядом с Александром Исаичем установить синюю поленницу.

Памятник трем сестрам можно сделать в виде трех переплетающихся змей, как в древней Греции... Слава говорит, что тени

трех сестер будут напоминать тени испарившихся японцев после атомной бомбардировки.

Памятник компьютеру — я чокаюсь с ним бокалом шампанского в новогоднюю ночь. Он ведь — мой товарищ! Помощник!

Памятник Кафке: чтоб он шел за руку с огромным насекомым...

\*\*\*

Вчера послушала 10-ю симфонию Шостаковича. Как у Киры Муратовой в нескольких фильмах (герои бубнят по несколько раз одно и то же), Д. Д. нагнетает повторы, будто советской унылой повседневности, и вдруг рывок вверх! Сначала кажется, что пародируется советский пафос, а потом видишь, что душе хочется высокого.

\*\*\*

— Кафка гений, потому что уничтожил литературного героя. Вместо него — вакуум, который, как в современной физике, полон виртуальных психочастиц. Это завершение тысячелетий западного литературного развития. Но после этого нужно снова вернуться к герою. (Слава Букур)

\*\*\*

Мы считаем «Горе от ума» гениальным творением, а Пушкина оно задевало как выпад против его друга Чаадаева, который был жив и в опале. Реальная картина литературной жизни всегда сложнее. Чаадаев писал Пушкину: «Дружба с тобой заменила мне счастье».

Я ахнула: со мной это было не раз.

\*\*\*

Я до сих пор пишу письма Чехову (и публикую в журналах).

\*\*\*

Я помню: на конференции во Фрайбурге — 2002 год — мы с Приговым всякий день за обедом были рядом. Дмитрий Александрович все время острил. Одну остро-ту помню до сих пор. Я спросила: как сын. Он ответил:

— А что сын — он уже старше меня.

...Ночью все пошли к собору — там сна-ружи выдвижные ящички. В них оказались монетки. Марина:

— Это для бедных... а вдруг бы они от-крыли, а там — ангел...

— На ангела что купишь? — спросил Пригов.

(Без комментариев.)

\*\*\*

Слава Букур за завтраком: «Архитекту-ра — это окултуренные скалы, соединение природы и культуры». А картинные гале-реи — это своего рода пещеры с расписан-ными стенами.

— Правда!

— Мы все по-прежнему хотим иметь ме-ста силы...

\*\*\*

Видели отрывок «Ревизора» с Мироно-вым и Папановым. Я сказала: «Знаешь, от-куда городничий ничего не видит в конце? Это из «Гамлета». Король просил огня после «Мышеловки».

\*\*\*

«Ваша щедрость встретит вас за гро-бом» — эти строки Седаковой, видимо, из Мандельштама («Ваша честность рай вам стелет»).

— Из Мандельштама и стихи Бродско-го («Если б меня смели держать зверем»). У ИБ: «Я входил вместо дикого зверя в клет-

ку...» У Пастернака «Старость — это Рим, который...» из Мандельштама, я думаю («Природа — тот же Рим...»).

\*\*\*

Я заметила: «Нос» Гоголя вырос из «Мед-ного всадника» — сначала поскакал памят-ник, а потом по Питеру стал разъезжать нос.

Слава:

— Не все так просто. В народных со-ромных сказках половые органы свободно разъезжают по свету и воюют вдобавок друг с другом. Нос всегда был заместителем муж-ского уда.

\*\*\*

Пока я писала картины, Слава вслух за-читывал отрывки из «Гоголь без глянца». В гимназии он всех доводил «розыгрыша-ми». Одного товарища довел до больницы, уверяя, что у того «бычачьи глаза». Так по-койная Таня Г. (поэт-пародист) рассказы-вала мне, как в школе все ее щипали за то, что она доводила одноклассников розыгры-шами. Видимо, такова природа сатириков и пародистов.

\*\*\*

У Достоевского в «Дневнике писателя» черти не хотят, чтобы их существование было установлено с абсолютной точностью (так как сомнения расшатывают душу, и она легко падает вниз).

\*\*\*

Соловьев поступал к Ромму и написал сценарий, в котором была фраза: «От нее пахло яблоками». На счастье Соловьева, тог-да не было «Яндекса». Ромм попросил 45 мин. перерыва, рылись в Чехове — не нашли. Со-ловьева приняли, конечно, слава Богу.

А вчера открыла «Записные книжки» Чехова, на первой же странице: «Ивану не нравится Софья, потому что от нее пахнет яблоками».

\*\*\*

Рильке: «Писать могут лишь те, кто умрет, если запретят писать...»

Я умру, если запретят.

\*\*\*

Как-то мы были на выставке Мондриана. Сфотографировались, и оказалось, что он давно растворился в наших свитерах.

\*\*\*

Звонил Сеня Ваксман: Гоголь в «Тарасе Бульбе» батальные сцены написал под влиянием Гомера, который тогда только что был переведен.

Я: но остальное-то не из Гомера — «Женитьба», «Ревизор». А из какого Гомера произрос «Нос»? Разве что моя любимая фраза «Природа словно спала с открытыми глазами» могла быть написана Гомером.

\*\*\*

Видела повтор «Села Степанчиково» по «Культуре» (со Стебловым и Юрским). Монологи — о вине интеллигенции перед народом — Достоевский потрясающе показал, как опасен так называемый маленький человек. (Хотя и у Гоголя в «Шинели» это мелькнуло в конце). Да, многое является там пародией на Гоголя («Выбранные места...»). Так Гоголь ведь тоже «маленький человек»! Гениальный писатель, но как человек — «маленький человек», в конце начал призывать бить крестьян! Маленьким человеком нельзя любоваться, его нужно растить до «большого».

\*\*\*

Да, котиков рисовали — в письмах из лагеря! Детям своим!

Я увидела несколько котиков на выставке писем и заплакала!

В лагере человек находил время для котиков, потому что находил силы для добра — для добрых мыслей!

То есть выставка «Папины письма» убедила меня еще раз: Шаламов не прав, не упомянув о той помощи, которую получал от сокамерников, они его упрекали потом... Я читала их письма в журналах! Ведь они помогли Варламу стать работником медпункта! Это когда он почти умирал!

Затем они же на три дня послали его заготавливать ветки, чтоб не попал он под перформирование. (Если б его снова перевели в другой лагерь, там бы ему уже не попасть в медпункт на работу! И он бы погиб быстро!)

Много было помощи от этих друзей! Но ни словом не упомянул их в своих рассказах великий писатель.

Мой друг В.С. говорил:

— Шаламов имел право не писать о добре в лагерях — так сильнее воздействовала его проза! Сильнее становилась ненависть к ГУЛАГу!

А мне дорога мысль Солженицына: человек до последнего сохраняет в душе крупинцы добра — даже в лагере.

\*\*\*

О Микеланджело. Оказывается, «Мальчик, вынимающий занозу» был частью усыпальницы Медичи. Спросила у мужа:

— Почему этот живой мальчик в погребальном комплексе?

— Заноза — это смерть. Помнишь, в Евангелии: смерть, где твое жало?

В разные годы у меня было разное понимание Джоконды. Теперь мне кажется, что улыбка рифмуется с ее кошачьими глазами — уголки вверх, и получается таинственный облик, загадочная улыбка. Полу-женщина-полукошка.

\* \* \*

В Нью-Йорке появилась улица Довлатова! Написал когда-то Леня Быков: «Горланова — это Петрушевская, написанная Довлатовым!»! В предисловии к книге «Подсолнухи на балконе».

Я сформировалась как автор до того, как прочла Петрушевскую и Довлатова. Вместо Петрушевского влияла на меня Фланнери О'Коннор. А вместо Довлатова — Шукшин.

\* \* \*

Заглянула я в наш «Роман воспитания»: «...родная верная Доходяга». Я убрала слово «верная». А потом чувствую, что оно было нужно — для ритма! Ритм ведь тоже важен!

\* \* \*

Если мастерство видно, значит, ты еще не мастер.

\* \* \*

Разговор с Кальпиди.

— Виталий, тебе нравится современная русская литература?

— Нравится. На ее фоне так легко быть гением.

\* \* \*

Вчера Чехова письма читать закончила. И снова ужас от того, что он умер! Так и хочется с колотушкой пойти по миру и кричать: «Пожар!» (так сделала мама АП). Мальчик из нищего детства — стеснялся, что отец сушит и продает спитой чай (а до сих пор его продают некоторые — не раз мы покупали такой в супермаркетах, увы). Написал все гениальное, построил много школ

и больниц на свои деньги! Письма последних дней так оптимистичны: покупка фланелевого костюма, планы путешествовать, помощь сыну приятеля. О, как мало мы помогаем детям своих приятелей!

\* \* \*

Вчера звонил Семен Ваксман:

— Я бы сравнил тебя с пираньей, которая ничего не пропускает мимо — все в литературу. Вячеслав Букур:

— Ты не пиранья, а цветок, который превращает солнце и навоз в цветы и красоту.

\* \* \*

Сосед по кухне бродил всю ноченьку напролет по коридору нашей коммуналки. И вдруг среди тьмы, комаров, растущих цен (я прямо их чувствую) меня осенило. Как же был несчастен Чехов, если его герои твердят: счастье придет через двести лет, через двести лет!

\* \* \*

Вот такой трезвый автор, как Борхес, и тот считал, что в основе искусства — тайна. А уж Чехов — тайна тайн. Откуда эти пьесы, такие неяркие («сиду на тумбе я»), а в них столько боли, столько подтекстов... сколько раз в пьесах повторяется «все равно» — огромное число раз! И из этого соткано чудо! Из изюма-то (как у меня) пироги легко печь, а вот из «все равно»... как?

\* \* \*

О картинах, из моего выступления в «Архангельском» — на открытии моей выставки:

— Особенно Рембрандт не дает покоя. Приблизиться немисливо, так я сюжетно ухитрюсь: в последние годы у блудного сына волосы делаю дыбом.

\*\*\*

Слава Букур:

— Пушкин — всё для поэзии девятнадцатого века, Мандельштам — всё для двадцатого. Два семита — наше все.

\*\*\*

Я дала интервью в Екатеринбурге. Корова подхватила меня на рога: это одновременно и мифологическая схватка со зверем, и похищение Европы. Журналистка:

— Если это так, то представляю, какая архаика будет клубиться на выставке над головами зрителей... Как вы определяете жанр своих картин?

— Тема одна: разговор в красках с самим собой.

\*\*\*

Как я собирала деньги на памятник Борису Пастернаку.

Когда своим романом «Доктор Живаго» Борис Пастернак «весь мир заставил плакать над красотой страны», имелась в виду и конкретно уральская «краса» — аура пермского края с ее белыми ночами, так волшебно переданная в романе.

Юрятин — это город Пермь.

И я давно уже показываю гостям Перми (моим друзьям) библиотеку, где снова встретились Юрий Живаго и Лара, дом Лары, что напротив дома с фигурами, и пр. Так в Москве показывают дом Ростовых, а в Вероне — дом Джульетты.

Когда роман был запрещен (такое уж стояло тысячелетие на дворе), мы об этом говорили только в узких кругах. Но вот наступила эпоха гласности, роман напечатали, и пермская интеллигенция стала говорить: пора установить памятник Борису Пастернаку.

Все началось на нашем телевидении — в рамках краеведческой программы «Пермский период» удалось провести дискуссию: нужен ли Перми памятник Пастернаку (был

прямой эфир), в студию все время звонили пермяки и говорили, что нужен памятник... Ермаку. Видимо, для многих что Ермак, что Пастернак — все едино (тем более что в рифму).

Но ведь наше дело — игра на повышение. Если людям рассказать о поэте, они все поймут, оценят, будут гордиться. Но... было организовано открытое письмо пермских авторов, что нужен памятник Астафьеву. Как будто в Перми не хватит места на два памятника!

\*\*\*

— Нина! На столе в «Тайной вечере» ты пишешь кусок арбуза, но арбуза не могло быть на том столе, если исторически подходить, — упрекает меня муж. (Но что делать, если для гармонии требуется красный цвет!)

\*\*\*

«Культура» дала Симфонию №5 Чайковского под дирижерством Мравинского. Слава Букур:

— Живое мясо музыки ворочается.

— Почему скромность Чайковского мне милее бурности Вагнера?

— Это видимость скромности. Там гигантские смыслы!

\*\*\*

Сегодня 175 лет Чайковскому, и я, написав три картины, включила «Культуру». Божественная музыка будет весь день — щемящее-протяжная, как наши просторы, затем вдруг бурная, как русский характер. Удивительно, что шестую симфонию считали «ничего нового»!

\*\*\*

Черно-белый фильм кажется честнее.

\* \* \*

Я полагаю, что нужно упоминать как можно чаще про нашу пермскую боль, у нас сидели все: Шаламов, Мандельштам, Ковалев, Буковский, Щаранский и Стус. Наши тексты про этих гениев и есть дань им.

\* \* \*

Мелькнуло имя «Джоконда», и захотелось рисовать!

Об уникальности каждого акта писания картины: то настроение счастья — надо из благодарности к Богу написать, то — наоборот — преодолеть депрессию.

\* \* \*

О моей выставке в Екатеринбурге: давно я мечтала где-то вывесить страуса — как бы мой автопортрет (иногда я прячу голову в песок, но иногда как побегу — и два десятка картин готовы!).

Брусиловский (гениальный художник): якобы Шагал «умер бы от зависти ко мне». Даже я растерялась... но Слава сразу шепнул:

— Не слушай! Он швейкует...

Брусиловский (в тосте):

— Ну, Нина, у вас наглость, вы в картинах все собираете. Все это останется. Ведь вы удерживаете любое пространство!

\* \* \*

Готовлюсь писать с детками в онко абстрактную картину: сердце, вписанное в треугольник, вписанный в круг, который вписан в квадрат (символ свободы — стороны направлены в 4 стороны света). Внутри сердца — кто что хочет пишет (солнце, яблоко, конфету, маму, цветок и т.п.). Скажу: абстракция — это как пение соловья (смысл точно не ясен, но радует) или как карканье вороны (тревога).

\* \* \*

Позвонил Леня Юзефович. Он сказал: «Пиши рассказы!» И добавил, что прочел уже четыре книги рассказов прошлогодней нобелиатки Элис Энн Манро! Что ее рассказы, написанные после того, как ей исполнилось 70 лет, особенно хороши! Родилась она в 1931 году, сейчас ей 85! Спасибо нобелевскому комитету! А то ведь наши критики на полном серьезе пишут, что не будут рецензировать и выдвигать на премии авторов пенсионного возраста! Причем сами эти критики тоже пенсионного возраста (смогут ли критики пенсионного возраста понять молодых авторов?)

\* \* \*

Сегодня день рождения Марины Цветаевой. Помню: мы поехали в экспедицию — это в 66-м году. Было мне 17 лет. В Красновшерске стояли синие тома МЦ («Библиотека поэта»). Впереди было — пешком еще далеко, а мороз под 40. Я не хотела покупать толстую книгу, но руководитель экспедиции Сахарный Л. В. подарил мне ее. И в общезжитии филфака ее с полки украли в первую же ночь!

\* \* \*

Читала в поездке дневники Пришвина: «Запретить вовсе литературу — значит, запретить половой акт. Долго не протерпишь».

\* \* \*

Идея рассказа возникает именно из отношений между людьми. Никакого быта нет, есть философия в поступках. Если человек (герой) хорошо относится к людям — это одна философия, если плохо — другая, если избранно — третья, и т. д.

У меня в любом маленьком рассказе столько идей, что хватило б на роман! Так

пишут критики. «Акушерочка» не просто перепутала детей! Она отказалась от пенсии! Ею овладела идея покаяния и расплаты. Никто ее не лишал этой пенсии! Она сама просто отказалась.

\*\*\*

Достоевский (из письма племяннице): «А занимательность, я до того дошел, что ставлю выше художественности». Я думаю, что тут много правды — без занимательности никуда. Но мало одной занимательности! Весьма занимательны детективы, а совсем нет художественности.

\*\*\*

После бессонной ночи с соседом рассказ «Чур» вдруг пошел! До этого не двигался с места. Как говорит дочь:

— Бедные вы люди, писатели! Столько вам надо страдать, чтоб писалось!

\*\*\*

Скопировала из интернета для рассказа, в котором есть черепаха: «Ну точно весна! Черепашка все просит и просит еду». А Слава думал, что это хокку. Но в хокку не может быть в первой строке объяснение — тогда зачем продолжать. Я сделаю так:

*Черепашка приползла —  
Все просит и просит еду.  
Точно — весна!*

\*\*\*

Ездил к дочери — брови выше поднять, как я говорю: «ближе к Богу».

И столько «болдинской осени» получила! Рябина вся в цветаевских страстно-красных кистях! Яблоня — в петрово-водкинских плодах! Молодой клен — пятипалый,

как у Тарковского! Все просят: напиши нас! И два подсолнуха на мусорке головы повесили: мы уже коричневые — не ваноговские... а их я тоже не оставлю без внимания, конечно!

Внук четырех лет из сада принес песню:  
— Боже, какой мужчина — я хочу от него сына, я хочу от него дочку — и точка...

Я вот от яблони хочу и от рябины. Мои картиночки — тоже дети! Только картона нет как нет.

\*\*\*

Люди — это почва, на которой книга, как целительное растение, каждый раз должна снова взойти.

— Сила этой книги в том, что встречается несколько потрясающих предложений.

Слава Букур:

— А у Достоевского насчет потрясающих предложений почти полный провал — у него одни души горящие.

\*\*\*

Почему-то к Шопену я с ранней юности была почти равнодушна. Еще подруги играли все время его, пять лет студенчества — Лена и Шура! И вот вчера Кисина услышала. Говорю:

— Какое спокойствие нахлынуло, а это для меня почти счастье. Вся депрессия зашелушилась и отпала, как чешуя.

Слава:

— Как будто нож целебный мне тоску отсек.

\*\*\*

А я вот всегда говорю, что можно не знать. Муж изменял мне очень, а я не знала, только один раз сон видела про его измену. Многие считают, что Цветаева делала вид, будто не знает про службу мужа в НКВД. А я говорю, что можно и не знать.

\* \* \*

У Коровина в «Женщине с букетом сирени» у нее женщины вместо ног какие-то почеркушки горизонтальные.

Слава:

— Это означает: и так далее...

\* \* \*

Вчера ездила к детям в онко. Я учу их писать картиночки акрилом. Писали котиков. Перед приходом такси я сказала Славе:

— Волнуюсь. Как все пройдет? Сложно ведь котика писать. Справятся ли они? Это не рыба, не цветы...

— Так расскажи о нашей кошке Мирзе.

О, я рассказала, конечно! А Элечка — мой куратор — рассказала такую историю. Назовем ее «Сфинкс и роза».

— Заболела роза. Она сначала перестала цвести, затем покрылась тлей, наконец полностью засохла. Я продолжала ее поливать, надеясь на чудо. И чудо случилось! Наш кот сфинкс, с голой кожей, стал прыгать на подоконник — к горшку, терся о колочки, типа говоря: «Я понимаю, ты хочешь быть похожей на меня, самого голого, самого красивого на свете, но не настолько же!» Он нюхал розу, лизал, что-то нежно-нежно мурлыкал ей, метил. И вдруг тля исчезла. Затем листья появились. А вчера она расцвела алыми пышными цветами!

— Роза для кота — Мурка! — сказал Данила.

(Прям Экзюпери!)

Дети превзошли все мои ожидания!

Сфинкса с голой кожей написала Катечка, я опять уж хотела встать на колени, чтоб она не записала шедевр свой, но удалось все же уговорить без коленей! Спасли картиночку!

Новая девочка написала кота, как «Блудного сына», в духе Рембрандта — цвет старого золота! Не кот, а философ!

У Сережи, который каждый раз пишет по две картины, словно фарфоровый котик вышел — белоснежный!

Самый «сутинистый» кот — одноглазый и лохматый — потряс меня своей асимметрией! Я сначала просила его себе, домой, но спохватилась — нельзя обижать детей! Напишу в этом духе сегодня.

Был там и трагический кот — с огромными зелеными озерами глаз.

Был синий кот! И черный! Кот в горошек! Кот с бантиком! А вы как думали?!

Родился в этот час и кот в зеленых розах (изумительный!). Похож на коврики, что бабушки продают на рынке. Я не придумываю — весь в зеленых розах! Видимо, так инопланетно некоторые видят мир — на котах розы, причем зеленые. Прекрасно!

Пять или шесть человек на этот раз захотели по две картины написать! Просто не смогли остановиться!

Я всех детей перецеловала (человек двенадцать? пятнадцать?). Конечно, говорила, что у них будут выставки в Париже.

— А когда прославитесь — приходите в эту больницу и занимайтесь с детьми, как я с вами сейчас.

\* \* \*

Когда я звонила в Сарс, спросила про всех. И к слову Вера говорит:

— А мы слышали о тебе по телику. Сообщают, что ты ложку расписываешь.

Ложку!.. Оттенок славянофильства какой-то. Что-то есть в этом довлатовское: ТВ общает о расписывании мною ложки.

\* \* \*

Ночью думала: есть слова, от которых хочется писать рассказы и картины (Джонконда, Баранов), а есть слова, от которых хочется жить (васильки). Когда я шла от Тауша в Верх-Емаш (в деревню бабушки Кати) пешком 3 км, там в поле голубели васильки. Иногда встречался розовый василек. Я в мечтах о будущем радовалась (обычно же дома я не была радостна, потому что тяжелый быт заслонял все).



\*\*\*

ВК:

— Автор в процессе творчества ухудшает свою душу, а читатель улучшает.

Я не согласна!

Ну читали энкавэдэшники Пильняка, Бабея, Гумилева, Мандельштама. Улучшило ли это их? Сомневаюсь. Есть несколько случаев, что авторы стали писать хуже (Шолохов, Фадеев, Федин, Тихонов), но не в процессе творчества, а в процессе приспособления к политическому моменту! (Перестали творить.)

\*\*\*

Вчера слушали «Реквием» Моцарта. Кажется, это был немецкий хор. Лица какие-то совсем не наши. Но как запели — Боже мой! Тут было все: вопль о помощи, сила судьбы! Я заплакала.

\*\*\*

Августейший читатель!

(Теперь только так! Читатель драгоценен, он практически один на этот текст, на любой текст.)

\*\*\*

Слава Букур считает, что из-за тяжелых имперских нагрузок русская нация так и не сформировалась. Государство растоптало нацию. Достоевский принял это за всемирную отзывчивость!

\*\*\*

Пишут: если б «Фейсбук» был в 30-е годы... Я сразу подумала: для меня бы это был ужас! Набокова рано прочтя, я бы попала под влияние! А так повезло: я до чтения Набокова сложилась как автор!

\*\*\*

Я хочу написать лоскутное одеяло, хотя Слава называет это «конструктивизм для бедных». Мол, надо на нем что-то... Так я уже писала и ню на лоскутном, и букет на фоне лоскутного.

\*\*\*

Вчера видели программу о Феллини. Он в свое время сказал: «Мой зритель умер». А наш читатель тоже умер. Слава, правда, говорит: снова народятся наши читатели.

\*\*\*

Говорю мужу за завтраком:

— «Алису в Стране чудес» я в последний раз читала детям в девяностом и совершенно не вспоминала! Тут в «Игре в бисер» процитировали сцену абсурдистского суда из «Алисы». Это точно суд надо мной! Сколько нужно перенести, чтоб полностью понять Кэрролла.

Муж ответил по-букуровски:

— Мир внимательно выслушал все претензии к нему и повернулся на другой бок.

\*\*\*

Я не ценила Шукшина, пока мое тяжелое детство во мне жило: сенокос, корова, которая меня на рога поднимала. Что такого в Шукшине? Ничего — у нас такая там жизнь, он — натуралист. И лишь когда детство забылось, я полюбила Шукшина за его доброту и юмор, искренность и смену точек зрения автора (и т. п.).

\*\*\*

Слава: «Литература милостива, она оставляет автору самого себя, а живопись всего автора забирает... тем более музыка!»

— А Хлебников? Его всего литература забрала.

— Он к литературе относился, как к такому миру, в котором он хотел все время жить.

\*\*\*

Слава у меня спросил:

— Почему актуальное искусство, которое казимиристее Казимира, любимо всеми правительствами всего мира?

— Потому что оно называется актуальное, а на самом деле не касается актуальных социальных проблем, тем более — политических, оно ни к чему не призывает — никогда не в оппозиции.

\*\*\*

Шла вчера по «Культуре» передача про Олешу. Очень подробная. Ну, все знают, что после войны он не мог более писать гениальное — пил, просил милостыню.

Но про главное «Культура» не сказала ни слова!

А все ведь знают: не талант его предал, а он сам. И причина — не в алкоголизме (алкоголизм — следствие). Причина — его выступление против Шостаковича.

Олеша любит Шостаковича и восхищается им, но партия не любит Шостаковича, и Олеша не любит. Партия сказала про сумбур — значит, и Олеша должен найти сумбур.

Искусство ревниво — ты отошел от него на шаг, а оно от тебя — на сто шагов.

\*\*\*

Мандельштам вырвал из рук Блюмкина расстрельные ордера и порвал. А наши поэты в 2016 году страстно доказывали мне, что Сталин — гений. Я говорила:

- От Сталина твой отец пострадал! А ты!
- Отдельные ошибки были.
- Отдельные многомиллионные ошибки.

\*\*\*

Ильин написал: если мои книги нужны России и Богу, то Господь их сохранит, а если не нужны, то и мне они не нужны. А я так и говорила в последние годы про мои и наши соавторские книги. И про картины тоже.

\*\*\*

Не ставят наши пьесы, а хочется их писать (потому что это особое удовольствие — буквально как в «коробочке» Булгакова: что-то кто-то показывает тебе).

\*\*\*

Л. про мой портрет Мандельштама:

— Понимаю — его одежда цвета морской волны, потому что он написал: «Я список кораблей прочел до середины» — бредил морем...

— Да, он бредил Гомером... но одежда — больничный халат в Чердыни.

\*\*\*

Слава Букур:

— Назови выставку «Приближение к Абсолюту». А картины будут называться так: «Попытка 1», «Попытка 2» и т. д.

\*\*\*

Разговор со Славой о Шимановском, о других. Я не считаю Баха номером один, хотя все считают. Разговор Бога с самим собой... и все. А Моцарт и Бетховен для меня — разделили первое место. Потом второе разделили Чайковский и Вагнер. У Вагнера Слава ценит мощь, а я ценю его сказочность. У Чайковского я люблю ту боль внутри музыки, которая у Достоевского определена так: много страдала, да еще

бы знать — добра ли она (Настасья Филипповна — страдала, но вот если б осталась добра). У Каллос в голосе была эта же боль.

\*\*\*

Вчера говорила с поэтом В. Он считает, что писать нужно так, чтоб читатель завизжал от восторга. А у меня другой критерий хорошей прозы: если мне хочется куда-то бежать и дарить подарки, значит, книга хорошая.

\*\*\*

Написала сегодня много больших картин. Ведь страус — автопортрет: то голову в песок прячу, то побегу-побегу — нарожаю детей, возьму приемыша, напишу много рассказов и картин! Потом Наташа уходит (или муж)... я лежу в депрессии и т. п. Богородицу как писать — обдумываю: внизу несение креста, может, набросаю (симультанность).

Новый супрематический петух — крик изобразила в виде мелких абстрактных форм.

\*\*\*

В советское время я не так унывала — думала, что после смерти напечатают (они любить умеют только мертвых), а теперь не верю. Тело литературы содрогнулось и умерло.

\*\*\*

Ушла из жизни Ира Христолюбова, пермская детская писательница. Детские книги пишут, видимо, особые авторы. Я вот всю жизнь мечтаю написать, и начаты двадцать-тридцать, но... И не в том дело, что я не люблю детей — я их боготворю! А Хармс говорил, что не любит! Но у него гениальные стихи для детей.

Однажды я была с Линой Кертман у Иры дома — кажется, это были години (смерть любимого мужа стала для нее трагедией). Там собрались лучшие журналисты и писатели Перми. Атмосфера счастья, понимания, нежности, смех сквозь слезы и так далее. И я потом много читала в мемуарах о Решетове, что дом Иры был домом необыкновенным, открытым для друзей и знакомых. Там черпали силы, сюжеты, ну и обедали (Ира вкусно, изысканно и щедро кормила, что говорить). Так и у меня был такой же открытый дом. А не написала я для детей ни-че-го.

А вот что: собрались мы недавно на вечер памяти нашего поэта — Леши Решетова. Там читались его стихи, и вся история XX века пролилась: деды были погублены советской властью почти у всех, отцы побывали в ссылке почти у всех, брат Решетова повесился уже после смерти Сталина, потому что его преследовали...

И я решила сменить тему — немного рассказала веселых историй. Как в день рождения моего мужа Решетов с порога заявил:

— Спасибо тебе, Нинка, за то, что ты Славку родила! (и т. д.)

И тут Ира — не рассмеявшись — заметила тихо:

— Интересно, что с Нинкой он вот так общался, а мне всю жизнь говорил только одно: «А ты молчи!»

А Иру уже перевели в Японию, а ей уже прислал восторженное письмо сам Левин, автор «Глупой лошади»! Но — «ты молчи!» Значит, Ира молчала? Она одна нашла столько любви к Решетову, что играла на его поле! Ему так нужно было, чтоб кто-то поклонялся-подчинялся! Он был так одинок, как одиноки все большие поэты...

\*\*\*

По «Культуре» читают последний том «Войны и мира». Я ранее говорила, что не встретила Платонов Каратаевых, а вот тут вдруг вспомнила, что моя бабушка Анна Денисовна была такова, ее муж — Сергей

Дмитриевич — тоже! Это приемные родители папы! Бабушка только могла носом швыркнуть, если что-то ей не нравилось... но никогда ни слова! Ни интонации другой, кроме смиренной!

\*\*\*

Кого-то спросили: о чем сожалеет — какую картину не вы написали? И я сразу ответила о себе: «Сожалею, что я не написала ни одного китайского пейзажа!»

\*\*\*

Видели по каналу «Культура» «Леди исчезает» — британский фильм 2013 года. О юной богатой девушке, которая решительно спасает чужую женщину. Рискую собственной жизнью! Вещь, совершенно невозможная у нас. Ни в жизни, ни в искусстве.

\*\*\*

Слава читает в сотый раз Гомера: «Знаешь, почему Одиссей убил женихов, хотя они обещали в десять раз возместить все, что съели? А он честь свою защищал — честь царя была нужна для равновесия мира».

\*\*\*

Разные мысли о том, что главное в Мандельштаме. Что удивляет. Что любимое.

Для меня все главное в нем! И связь времен (Эллады и острой современности), и такая жажда тепла, что он не только «не волк по крови своей», но и «спичка серная его бо согреть могла». От него я никогда не устаю (томик лежит возле компа, я его открываю каждый день!). А как он вырвал ордера расстрельные у Блюмкина!

— «Лестницу Ламарка» больше всего ценю! Человеческая личность существу-

ет миллионы лет и постепенно собирается в выраженную личность — в оформленную. (Слава Букур)

— «До чего аляповаты, до чего как хороши» (Мандельштам). Тут секрет волшебства в захлебе — в избыточном «как». А мы всю жизнь старались лишние слова изгонять. Но правил нет — иногда хороши лишние. (Я)

\*\*\*

Вчера туман за окном был лохмат и сказочен. Слава сказал по телефону внучке, что «послал» кусочек тумана ей в посылке. Она в ответ отправила ливень. После звонит:

— Пришла моя посылка с дождем?

— Пришла, но там гроза разразилась, гром гремит — мы боимся ее открывать. Зато я послал тебе кусочек солнца по почте.

Казалось бы: вот уже есть начало книги для детей: пришла посылка — там гром гремит. Но нет, не пишется такая волшебная книга. Мало во мне детского? В картинах — много, а в литературе — увы.

А разве мне можно было сказать: молчи! Такое бы я в ответ сказала! Неужели в этом отличие детского писателя от меня?

\*\*\*

Слушаем по «Культуре» оперу «Евгений Онегин». Уже дуэль. Я жду дальнейшего с таким интересом, словно никогда не слышал, хотя сто раз, причем именно этот состав год назад! Но каждый раз я жду: в конце Онегин получит возмездие — это и дает нам утешение.

\*\*\*

Учитель литературы один раз стремительно вошел в класс и сразу перевернул первую парту — ученицы полетели на пол, сверкая бельем розовым. Он выкрикнул: «Вот так Октябрьская революция все перевернула в сознании Блока!»

\*\*\*

Говорят: Шекспир не писал свои пьесы, он был актером, ему бы не хватило образования, чтоб все это сочинить. Но вот Андрей Платонов! Никто же не сомневается, что он сам написал свои гениальные вещи (рукописи остались)! Платонов и есть доказательство того, что Шекспир сам все написал...

Как только муж собирается от меня уходить, я говорю: «Ты такой талант, ты почти Чехов! Как я буду без тебя писать!» Слава иронично произносит:

— Я — чайка (и остается).

\*\*\*

Слава работал сторожем в синагоге и преподавал еще иврит. Однажды у него украли Тору. Но что плохо для жизни, то хорошо для сюжета — повесть получилась! («Сторожевые записки»).

\*\*\*

Слава смотрит репортаж о новой тракторке Чехова: «В «Вишневом саде» если новизна нужна, то Лопехин пусть будет китаец»...

\*\*\*

За завтраком говорю:

— Ночью читала Басинского. Толстой сего «радостным» отношением к смерти детей какой-то ужасный.

— Так гений — не человек, это явление природы. А мы не осуждаем вулкан за то, что он лавой льет. (Слава Букур)

\*\*\*

Я боялась закончить, как Пастернак: заявить в конце жизни, что пошлость меня побе-

дила. Но дошло уже до того, что стала иногда это произносить. Ведь как посмотришь вокруг: коррупция, народ спивается! Так хочется бежать куда глаза глядят! Только русский язык, любимый русский язык еще удерживает.

И вот в страшную дату — год со дня захвата школы в Беслане — вдруг в иностранном фильме я вижу: Аслаханов повез Путину список из 700 знаменитостей, которые были согласны обменять свою жизнь на детей в Беслане (заложников)!

Не 7 и не 17, не 70, а 700!

Уверена: немало среди них лучших писателей-поэтов!

И никто нам — россиянам — не опубликовал такой список! А ведь мы бы год — целый год! — жили с мыслью, что у нас 700 святых! Среди элиты! Не так уж она плоха! Это бы всех нас возвышало!

Но до сих пор эти 700 фамилий нам не известны...

\*\*\*

— Писатели такие простые — на лесть сразу покупаются, — сказала Л.

— Ты думаешь, это говорит о нашей простоте! Наоборот — это говорит о нашей сложности! — ответил Слава Букур.

— Каким образом?

— А мы плывем в этом потоке лести и выплываем на сюжет какой-то — о тебе...

\*\*\*

Мне часто снится один сон: я потеряла якобы свой рассказ, выглядываю в форточку — мой рассказ там, за окном, он... метет двор (в виде такой высокой дворничихи с маленькой головкой, как в карикатурах).

\*\*\*

У Бредбери минимальные фантастические допущения и громадные выводы. Только большой талант может так писать.

\* \* \*

— «Как бы» — неопределенный артикль уже сейчас, — сказала я.

— А «бля» — определенный, — добавил муж.

\* \* \*

Показывали интервью с Астафьевым (из архива). И вдруг сверху на В. П. села муха. Довольно большая черная муха на светлых волосах — она приковала все внимание, я уже не слышу, что говорит Астафьев, хотя и пытаюсь слушать.

Сам В. П., естественно, не чувствует, что муха села, и говорит очень важные слова, очень! Но я тык-пык — пытаюсь их ловить, а не могу — муха!

Оператор мог бы процитировать Олейникова («Я муху безумно люблю») и под этим соусом муху прогнать, подумалось мне.

Но оператор сделал другой ход: крупный план! Только глаза и губы остались на экране. Мухи уже не видно, и я дальше слушаю.

Муха, конечно, Астафьева не унижала, но она унижала, в какой-то степени, оператора, и он быстро нашел выход из положения.

Это я все вот к чему. На днях у меня маленький томик Мандельштама (пермский, который я держу под рукой у компьютера) вдруг... встал. То есть я стала его отодви-

гать, а он не лег, но встал. Я вслух подумала: могилы нет с памятником у Осипа Эмильевича — пусть томик вот постоит как памятник. Но в то же время я догадалась, что будет у меня проблема с Мандельштамом — не знаю пока какая.

И вечером открываю ЖЗЛ о Мандельштаме. А там — портрет Сталина! Меня это оскорбило просто! Даже портрет Брежнева в ЖЗЛ о Бродском не так бы оскорбил. Конечно, Осипа Эмильевича это не унижает. Но меня как читателя унижает. Вырезать, что ли, этот ужасный портрет?

\* \* \*

Большой стиль Улановой: в каждом движении — по империи...

\* \* \*

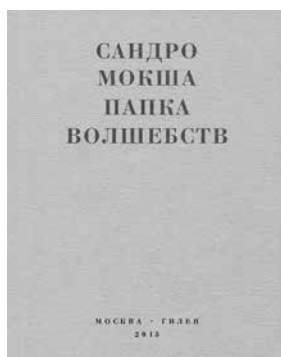
Слава видел во сне: в деревне в одном доме хор репетирует. И хор стоит возле дома, а дирижер из окна открытого говорит: «Пойте из всех себя, из всего этого луга и из всего этого неба!»

(Вот что я подумала: так и нужно создавать любое произведение. Только я-то умею писать рассказы лишь из всей себя да картины — из всего «луга», а вот из всего неба я начну еще учиться.)

**Владимир Бекмеметьев**

## *Крутился Мокша*

*Четыре размышления о книге Сандро Мокши «Папка волшебств»*



С утра крутился снег намокший  
И таял на плечах подолгу.  
А где-то по соседству Мокша  
Стремилась превратиться в Волгу.

*1 декабря 1958  
Михаил Красильников*

### **1.**

В чужом (настолько ли?), как чужда Мокша Волге, стихотворении поэта «филологической школы» Михаила Красильникова «повторяемость событий» тоже выпала из папки. Видели, видели и снова уди(ви)ли.

Река времен, желательно пропустить «в» (да заходи быстрее, заждались), ввести, но речение во избежание пошлости, окружающей высокой штиль, цепкости золоченых пуговиц

или ключниц (окопы Даля непроглядны). Не лето 41-го, но реки ревут, снося щепки и ошибки: для этого ли шапку, ленту на глаза или липкую решимость (А. А., Я. Д.) — пропажа уже совершилась до: прыжки и безвоздушные мешки. Но.

*Дай бог выдержит плаванье  
по-военному одет  
по воде — о! дед шёл  
в шелках*

Шепотом: об этом нельзя. Ведь клейкие почки превратятся в опухоли-клетки — не продонуть. Под несносным мостом — наворочено спиритической влаги, выпьем? Да. «На мостике мой стих, газ воздушный её воздушный аз, твёрд сикх...» А как же. Мост, лес, тюрьма — цепкие артикулы границы. Кривая из места не выводит, подтаскивает, а просачивается путаная тропка. В запечных лесах — лишь стон спецпоселенца (значит, человек хороший... уши кровоточат, так что? Лучше чай). «Тут тюрьма, там тюрьма, внутри и снаружи стража с оружием».

## 2.

В фонтанирующем изобилии окраин (у Мокши плещут же — «закута» — с гостями российских глубин — куда ни глянь бельмом — фланируем через площадницу-за-лужу), в которые не врезаются лезвия думок: радиосигналы, должно быть, доносятся со дна рек, «исходящих дугами, будто бесформенными духами ирригационных систем...» Fabric Strong: изобилие металлов превышено в 4–5 тыс. раз.

Негостеприимный рассказчик уверяет, лишь разматывая свиток (обложили грифом-чудовищем), целы ли косточки? Всем интересна смерть, как прыжки Бахтерева в текст, неподобны.

А этот-то кто такой? И другой? К чему кучеваться биографическим областям (вы братья, земляки, может, вместе спортом занимались? хм): а они приобретают заразительную липкость, обёртка да чернильный фантик типографической сладью срослись («безотчётность сосны», «чёрного сна» — «бюрозового сна» рантье, ларёк, «макаров»). Это направление. «С парадного входа».

«Ходит почти даром». А тут: перевести дух, как натужную стрелку в архив часовщика, заложить тревогу в архивную папку. Голову в шапку дубовую.

Публикатор уверяет: наследие / отрывки / отдельные. Предваряется паузой помех. А я замираю, в мир или без, первый раз пролистывая книгу в питейном заведении, потом на вокзале, измятой заменой. Шершавый глоток. Путаюсь, конечно, филология пьяна и спит в ослепляющих блесках, страшусь, блеснах. Но наживка, мой мозаичный друг! — ирис пережёванный. «Папка волшебств» — это ослеплять (не бойсь цепня озарения, но не при людях же!), не пропускать воду, шифруясь, во вторичной влажности — штрафной.

*Посмотри: вскрылись давние ранки  
Гной сочится из них  
Пуп пунцово с живота выпер*

*«...Вы как танцоры, вышколены. Кто вы?»  
— Я только ваш раб, божество миражей,  
Куражей, виражей ли с благостным выражением*





Сандро Мокша. Фото Эдуарда Поленца. 1995–1996 гг.



Начало свитка Мокши «Папка волшебств»

*Протокольная рожа, в которую воткнут иголку  
— а она не моргнёт.*

### 3.

Зная толк в знаменьях, пусть поруганный — у входа в шалман «Алли Тераци». Террасы, на которых возможен принудительный облик, завязывают-завывают пейзаж (заодно с пейзажниками: зеки послабляют Катю китаёзами), с аллеями лесными, садовыми просеками. Олени, (в пропуск Орион) и лень лишь: «пьянь подпитывает грусть Орине». «Алел закат». Апель, заварки? — «камень в сидке старый».

*Пацан пас коз, гнал кур,  
на бойню, зная то,  
что не ведал даос,  
зная толк в знаменьях...  
но я тоже был маньяк  
и в манерах превосходил  
любого яка.*

Немедля шествуют стада разноголосиц, зверинцы ведут осужденную оптику. «Имение разорено», да, то не флейта-позвоночник, но переменка, пересмешка пальцев на выпеваящем зрачке — обнаруживаем ту самую, «щупную» свирель, изумительно вещую, цветодущую. Придумал, да, царственно, д-но дуло мелок метчайших, чай, непременно. Визионерв онзилась verus? «Вещие слёзы» приносит, берегу. Заострил долото, «моцарта кости в земле кочуют, флейты звенят в тепличном стекле» (пифия-пфф, на такси, но вот вам и ода), да, а мцыри ночует на остановке, краска зацапана поверх объявлениями:

*что бы ещё такое приплести к сему семиотическому набору, а лучше сказать перебору избитых штампами однако кое о чём говорящих тем особенно из породы тех, пытливо заражающих окружающих тем, что постоянно, не давая передышки, не оставляя малейшего просвета в потоке знаний, стремят идеального дух к ещё большему наполнению ...напоминая мне, что уже половина пятого и уже не придётся поспать. Пора собирать манатки и идти — хочешь ты этого или нет — на бесконечно длящийся парад манускриптов.*

Парад маршруток, подбитыми стеклами согласуясь, лента-сепия — бычий усталоглазый цепень, скручивающийся: у них всё поголовно, а голод пройдем, приём-город, потом, «за обедом аппетитно смаковать боржом, в воображении услаждая себя борщом». «Разгулялся гастрит» — смаковать землю («take a lesson from the ground» — так о весне один английский чудак), плиточки притоптаны не культурным лаптем, а...

*...А впрочем не будем судить строго,  
век ведь, согласитесь, короток,  
а надо многое успеть,  
как:*

Далее-то одно, то друг-предмет, бытовым, приходя слов, подходом сник ходящему листа, делись стилусом:

*и на этом самом месте  
режь.  
Хорош.*

#### 4.

*Был бал в аду  
и в воду отрок  
лабухом глядел  
дятел  
выбрав  
удобную кору  
сразу начинал по ней долбить  
будто от этого зависело его  
пёстрое пернатое существование*

«Тик на брови, пик любви». Лоб окрови перевёртыш. Лотом, брошенным в небо? (Да, перестань, все рыбацкие места заняты и помечены, белила разметят или размесят графит.) Мы в рай — гуляющая по полю лю: «случка в клубе будет пулей».

*Я ж учу чувствам,  
Я ж хочу быть с тобой...  
Бойся безумия.  
Польза от пули не более  
Такой боязни.*

Но «Мокша читает свою бредятину... оставляет мусор», — сообщает поэтическая паутина Екатеринбургa: а.с.кружева и С.С. жена, в цианистой банке роли-распоряжения: хищнически одним спутать ноги, одним-одним, заплыли в шерсти волки-пауки в «ловле кайфа ловки, как и в ловле блох». Мушка, мошка?

Это, предположим, некая О.Б. начала бы пить, забыться в буфете (закрой форточку — дует), но не «клиника» — случка для паралитиков и параклетов.

*Паркет мало-помалу скрипнул  
Рэкет график по молоку поломал  
Квакер какой-то там палаты  
Что-то там пролаял в микрофон  
Где зачем-то засел всегдашний вождь...*

Штрих дождя из эпиграфа, полузабытый, там где «физиономии мнительный мир миг затмевает взамен». И так, длящихся от порыва: раунд Эола. Но «Ура той, что в туннели спускалась Улисса!». Табель о рангах, поверяет раны — по ветру. По ветру — утрат.

*Дуют ветры в Киевской Руси,  
Дают прикурить тебе, Зигги.  
Скажи сгинь.*

Скинь сигарету, маяк пепла горки и — за нос волнистый постава, оскал мёда.

*Сандро Мокша. Папка волшебств: Свиток / Публикация Р. Комадея. — М.: Гилея, 2015*

**Евгений Лобков**

## *Футурист как пушкинист*



1920-е годы. Два юбилея: 125-летие со дня рождения А. С. Пушкина и 100-летие восстания декабристов. Экс-футурист Василий Каменский пишет актуальную пьесу и роман о Пушкине. В отличие от соратников-гилейцев, он не сбрасывал Пушкина с парохода современности. Подписи виднейшего футуриста Каменского не было под главными футуристическими манифестами.

Пьеса «Пушкин и Дантес» была поставлена в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина, а также в театрах Пензы и Тифлиса. Не знаю, как принимала спектакль ленинградская публика, но рецензия в «Ленинградской правде» была резкой даже для того времени.<sup>1</sup>

Для пушкиниста-любителя — смелый поступок. В этот исторический период становятся доступными массовому читателю ранее не изданные произведения Пушкина, печатается огромное количество разнообразной литературы о Пушкине, выходят в свет работы, которые стали классикой пушкиноведения и литературоведения в целом. Подготовкой научных изданий, исследованиями биографии и творчества занимаются специалисты высшей квалификации от Гершензона и Щеголева до опоязовцев — Тынянова, Эйхенбаума, Гуковского.

Всенародно отмечалось столетие восстания декабристов. Тынянов своим романом «Кюхля» выводит русскую историческую беллетристику на принципиально новый уровень.

Начну с официальной оценки романа. Из статьи Е. Мустанговой в Литературной энциклопедии: «некоторые (романы Каменского — *Е. Л.*) граничат с бульварной лит-рой (напр. «Пушкин и Дантес» — роман, в котором историческая тема опошлена)». <sup>2</sup> В чем именно бульварность и опошление исторической темы, критикесса не объясняет.

Надо сказать, критики произведение Каменского не приняли всерьез. Было несколько отрицательных рецензий. Из соратников по ЛЕФу против романа высказался публично только Н. Чужак. <sup>3</sup> Приведу названия некоторых рецензий: «Очередная халтура» А. Ансон <sup>4</sup>, «Пушкин и Дантес. Сочинение бывшего ученика приготовительного класса Васи Каменского» Б. Анибал <sup>5</sup>, которые полностью раскрывают их смысл. Евгения Книпович в «Красной нови» положительно оценила оформление и полиграфическое исполнение книги (весьма недешевой — 2 р. 80 коп.), но, что касается текста, была солидарна с остальными рецензентами «...почему он так напоминает те «великосветские романы», которые на радость лавочникам печатались лет 15 назад в «Петербургском листке»? <...> Он (Каменский — *Е. Л.*) нашел, что судьба Пушкина — самая подходящая тема для бульварного романа». <sup>6</sup> Досталось и фантазии автора, и красотам языка.

Пользовался роман успехом у читателей? Сейчас трудно определить. В 1928 году вышло два издания небольшими тиражами: в тифлисской «Закниге» и в эфемерном берлинском издательстве «Полиглот» (с купюрами). Почему не в Москве или в Ленинграде? Полагаю, столичные издательства не решились рискнуть своей репутацией. Обе книги вскоре стали великой библиографической редкостью. Только спустя шестьдесят лет переизданный в 1991 году четырехсоттысячным тиражом в издательстве «Правда» (в последний исторический момент, когда страна покупала книг больше, чем читала) роман стал доступен массовому читателю. Но в 1991 году страна читала не Каменского, а Солженицына.

А. Г. Никитин, автор вступительной статьи к однотомнику прозы В. Каменского, горячо симпатизирующий писателю, вынужден признать: «Эмоции и краски его письма намного богаче, чем знание им пушкинской эпохи со всеми вытекающими отсюда последствиями» <sup>7</sup>, он же отмечает, если все неточности текста оговаривать в комментарии, то он «разросся бы до невероятных размеров». <sup>8</sup> Но только ли в знаниях дело? В конце концов, можно было дать роман опытному рецензенту-редактору для исправления фактических ошибок. Массовому читателю не так уж важны биографические, топонимические, бытовые и прочие неточности. Знания мы черпаем не в романах, а в научных исследованиях, в энциклопедиях.

Что касается пренебрежения так называемыми общеизвестными фактами и сложившимися репутациями, то не считаю это серьезным грехом. В процессе собственной работы я неоднократно убеждался в том, что общеизвестные факты не выдерживают серьезной проверки и являются не чем иным, как многократно повторенной выдумкой (или целенаправленной дезинформацией, для распространения которой привлекаются большие средства и мощности). Установить неистинность события и предвзятость трактовок сравнительно несложно. Крайне трудно бывает определить конкретный первоисточник «легенды».

Футуристы долефовского периода не стремились подводить под свое искусство серьезный идеологический базис. Вся их теория сводилась к нескольким страницам манифестов весьма хаотической структуры и путаного содержания. Думаю, никто не рассчитывал обнаружить в произведении Каменского глубины исторического мышления или тонкость психологических портретов. Но что касается практики... Это их законная гордость. «Нам некогда было заниматься теорией поэзии, мы давали ее практику», <sup>9</sup> — писал В. Маяковский Л. Троцкому в 1922 году. Каменский, как отмечено выше, непричастен к ранним манифестам. Но что касается места в искусстве — его футуристы ни с кем делить и никому уступать не собирались. «Мы знаем: мы, левые мастера, мы — лучшие работники искусства современности». <sup>10</sup>



У романиста есть серьезное преимущество перед исследователем-историком или филологом — он вправе дать волю своему творческому воображению, увидеть и воссоздать исторически верный образ эпохи, жизненные портреты людей, убедительные мотивы их поступков. Стремиться не к правдоподобию, а к правде, не используя бесчисленные «видимо», «вероятно», «скорее всего», «сведения скудны и противоречивы» и пр.

Напоминаю: только что вышел «Кюхля», в «Новом мире» началось печатание вересаевского «Пушкина в жизни». Какой роман делает Каменский? Исторический? Социальный? Биографический? Немаловажно: с какой целью? Добиться (финансового) успеха у массового читателя? Создать «Пушкина», полезного родной советской власти?

Существует немало историко-социологических исследований, посвященных «государственному поэту», в которых прослеживалось, как менялся официальный портрет Пушкина в различные периоды дореволюционной и, особенно, советской истории. В 1920-х годах упор делался на революционность, интернационализм, стремление к свободе, ненависть к самодержавию и «тюрьме народов». В конце 1930-х он становится поэтом-народолюбцем, поэтом-патриотом, противником онемеченного двора. В 1960–1970-х у литераторов «патриотического» направления Пушкин становится другом царя и православия, жертвой внешних врагов России. В эмигрантской литературе третьей волны западничество Пушкина переходит в русофобию и т. д.

Основным приемом В. Каменского является гиперболизм. Вполне уместный в стихах и прозе о Стеньке Разине, в романе о Пушкине он производит (и производил в 1920-х) комическое впечатление.

Прежде всего — связь с современностью. До 1937 года, когда Пушкин станет первым советским писателем, еще десять лет. У Каменского было время и возможности для коренной переработки романа. Однако роман о Пушкине не был переиздан ни в 1937, ни в последующие юбилеи.

Василий Каменский — многоопытный писатель. Четверть века в поэзии, пятнадцать лет делает прозу. Казалось бы, крепкому профессионалу вполне по силам сделать проходной добротный биографический роман на выигрышную тему — о Пушкине и Дантесе. Приступая к чтению, я надеялся прочесть исторический роман-фантазию, написанный сочным футуристическим языком.

Небольшой роман «Пушкин и Дантес» охватывает более трети жизни Пушкина, с 1824 по 1837 годы. При этом заглавный антигерой романа появляется только в последней трети произведения, фактически экспозиция занимает две трети романа. Тем не менее, несмотря на привлекательное название и неизменный общий интерес к обстоятельствам личной

жизни поэта, довольно сложно говорить об успехе книги у массового читателя. Проще всего увязать это с политическими обстоятельствами. Скажем, беллетристическая диалогия И. Новикова «Пушкин в изгнании» переиздавалась практически ежегодно в течение полувека. А исследование П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина» не переиздавалось в течение 51 года (1936–1987), компиляция В. Вересаева «Пушкин в жизни» — в течение 48 лет (1936–1984). Естественно, причина этого объясняется не отсутствием читательского спроса или конфликтом из-за авторских прав, а чисто политическими обстоятельствами.

Вульгарный социологизм в конце 1920-х начинал выходить из употребления. Создатель популярного историко-биографического текста должен либо знать предмет существенно лучше читателей, либо глубже их понимать его. Интеллигентные читатели расценили роман как бульварный, а для просвещения (пропаганды) читателя пролетарского он опять-таки не годился — и не только из-за вольного обращения с фактическим материалом.

Каменский попытался изготовить «идейно выдержанный» роман. Его Пушкин — революционный поэт. Но чересчур революционный, больше, чем требовалось. Гиперболизм переходит в фарс. Революционные настроения в пушкинском обществе явно преувеличены. Единственное, что роднит текст Каменского с футуристическими произведениями, — это прием антитезы, «нет на земле никаких середин». Все персонажи романа четко разграничены на положительных — сочувствующих революции, и отрицательных. Герой романа Каменского выигрывает время, но проигрывает пространство. Такой Пушкин годился для страниц глубоко провинциальных альманахов 1930–1940-х годов. В берлинском издании, рассчитанном на более образованную публику, наиболее «революционные» эпизоды сняты.

Пушкин известен разносторонностью и многообразием интересов. У Каменского он человек одной идеи — революционной. Непосредственный предшественник Горького и Ленина. Центральная фигура революционного движения России, по непонятным причинам не возглавившая движение декабристов. Возможно, именно отказ декабристов от практического использования пушкинского гения и авторитета привел к поражению восстания.

Большевики не скрывали дружбы с Горьким, пользовались (а порой злоупотребляли) его средствами для революционной работы. Долги Пушкина всегда превышали его немалые заработки.

Для чего Каменскому понадобилось гиперболизировать революционность Пушкина? В конце 1920-х устоявшаяся власть отвергает вульгарно-социологические попытки стратифицировать литературу по признаку революционности. Все русские классики, за исключением Достоевского, признаются прогрессивными.

Не знаю, читал ли это произведение Маяковский, но если читал, то не стал бы сдерживаться в оценках. Маяковский не переносил легкомысленного отношения к Пушкину. Напечатал в «Новом Сатириконе» издевательское стихотворение «В. Я. Брюсову на память», когда тот «завершил» «Египетские ночи». На диспуте «Леф или блеф» разгромил «высокоученого Войтоловского» за упоминание им среди героев пушкинского «Евгения Онегина»... Гремина. Однако Войтоловский еще допускал минимум ошибок по сравнению с другими авторами, которым Маяковский дал определение «дураки от марксизма». Еще тяжелее громил Маяковский кинокартину Гардина «Поэт и царь». «Я спрашивал у людей, которые пишут стихи, — как они это делают... По-разному... Но во всяком случае — дурацкие взъерошенные волосы, отводя левую ножку в сторону, сесть к столику и сразу написать блестящее стихотворение:

*Я памятник воздвиг себе нерукотворный  
К нему не зарастет народная тропа... —*

это есть потрафление самому пошлomu представлению о поэте, которое может быть у самых пошлых людей». <sup>11</sup>

Но главный недостаток романа не в исторических неточностях. Прекрасному знанию материала соответствует красота литературного изложения. Каменский отказывается от короткой лефовской фразы, которой он мастерски владел, и начинает писать «как люди» — «периодами». Несколько позже РАПП выдвинул лозунг «Учиться у классиков!». У каких романистов учится сорокачетырехлетний Каменский?

В 1920-х годах были попытки создать произведения «бригадным методом». Наиболее известным текстом стал публикуемый в «Огоньке» роман «Большие пожары». Но там авторы писали по одной главе. Когда я читал роман «Пушкин и Дантес», складывалось впечатление, что это работа дружной литбригады в составе Зоценко, Архангельского, Ардова, Хармса, Вербицкой, ударника, призванного в литературу, и дореволюционного фельетониста-поденщика.

Патриотизм и связь с народом иллюстрируются на уровне учебника для начальной школы. Вот Пушкин-патриот: «Наши писатели, матушка, и я в том числе, лучше по-французски пишут, чем по-русски. Вот оно — воспитание проклятое!» (С. 157). Пушкин Каменского — убежденный революционер, под его влиянием няня Арина Родионовна становится не просто революционеркой, но и сторонницей цареубийства, что делает ее прямой предшественницей не только Ниловны, но и Федератовны. «Сам ведь ты мне сказывал, что в Кишиневе, в Одессе лучшие люди ухлопать царя собираются. И ухлопают». Пушкин солидарен: «Должны ухлопать царя! Должны! Весь русский народ этого счастья ждет. И если ухлопают, — всем, и тебе, и мне будет свобода. То-то я тогда крылья расправлю, — держи меня!» (С. 158)

Пушкина встречают в Москве как Горького в 1928 году. Одной Арины Родионовны для показа связи с народом маловато, и автор вводит в круг друзей Пушкина представителей «демократических» слоев населения — чиновника Евграфа Ивановича Брызгалкина и мастерового Луку Андреевича Чижова. В словаре Черейского «Пушкин и его окружение» таковые отсутствуют.

А вот отрицательные персонажи: «Лисье, ползучее лицо генерала следило за маршированием начинающего монарха». «Какая же мне охота возиться с литературой, — отбояривался великий ростом монарх, — какого-то выскочки из людей. Не терплю я литературы, а особенно разных выскочек. Что им надо, разным Пушкиным? Не понимаю». (С. 193) — в общую работу включился Зоценко. Теперь пародия Ардова: «Генерал, передайте мое мерси командиру полка». (С. 194)

В конце концов, за прямую речь персонажей автор ответственности не несет. Но и авторская речь отличается разноголосицей — снова Зоценко: «...мирно разговаривают о хороших, лучших и даже замечательных людях, чья общественная деятельность является обычной темой случайной беседы». (С. 207)

На помощь Каменскому приходит безымянный дореволюционный автор газетных романов, начитавшийся Бальмонта: «Здесь, по случаю свидания с приятельницей, на поэта свежей волной Черного моря нахлынули одесские воспоминания, над разливом которых, как белоснежные чайки, нежно пролетели, резвясь в бирюзовой глубине южной любви, трепетные имена Лизы Воронцовой и Амалии Ризнич». (С. 202)

Анастасия Вербицкая тоже отметилась: «У поэта закружилась голова: рубиновыми молниями под небом черепа засверкали огненные мысли». «Пушкин весь горел огнем встречи и жадно, ненасытно, как умирающий от жажды, глотал каждое мгновение ее головокружительного взгляда» (С. 231).

При чтении романа я испытывал сильные эмоции от таких изобразительных средств из арсенала ударника от станка и сохи. «Самодурное самодержавие густо сплело железную паутину убийственного рабства, задавив народ тяжким гнетом насилия» (С. 148). «В дикой глуши времени, занесенный снегом бесправия, он всё же нашел в себе мощные силы, чтобы под вой отечественной метели остаться великим мастером у рабочего стола» (С. 150). «Бен-



кендорф и фон Фок, как два гигантских паука, распластались в паутинах длинных столов и ненасытно вписали в себя несчастных жертв, отмеченных в секретных донесениях усердными шпионами, тайно раскинутыми по всей России». (С. 209 и далее по всему тексту).

В этом перечне авторов отсутствует... Каменский. За исключением небольших пейзажных отрывков... Чем объяснить происшедшее с Каменским? Куда пропал не только талант, но элементарный профессионализм и вкус? Если бы роман вышел без имени автора, я никогда бы не погрешил на Каменского. Настолько этот гибрид не похож на его остальную прозу. Каменский, как уже говорилось, маститый прозаик. Работал в разных жанрах: псевдоисторическом романе «Степан Разин», бытовых повестях и рассказах, в автобиографической и мемуарной прозе. И нигде не испытал подобных провалов. Говорить о кратковременном глубоком творческом спаде едва ли правильно. Одновременно с романом о Пушкине Каменский делает новую редакцию добротной повести «Землянка».

Жанр — революционный бульварный роман-пародия. Он нашел последователей в наше время. Отсутствие редактуры и сниженные читательские требования привели к тому, что широкой популярностью пользуются книги наших современников, продолжателей традиции «Пушкина и Дантеса» — Эдуарда Володарского, Варлена Стронгина, полагаю, что и многих других, которых не читал.

Может быть, причина неудачи в вульгарно понятом «социальном заказе»? Материалистическими причинами я этого объяснить не могу. В добрые старые времена причину подобных неудач определяли «чёрт попутал».

<sup>1</sup> Дрейден С. Плевки на Пушкина. // Ленинградская правда. 1926. 11 мая.

<sup>2</sup> Мустангова Е. Каменский В. // Литературная энциклопедия. М. 1931. Т. 5.

<sup>3</sup> Чужак Н. На вольном рынке. Не углубляйте историю. // Читатель и писатель. 1928. 28 июня.

<sup>4</sup> Сибирские огни. 1928. № 5.

<sup>5</sup> Красная нива. 1929. № 24.

<sup>6</sup> Книпович Евг. Рец. на В. Каменский. Пушкин и Дантес. Закннига. Тифлис. // Красная новь. 1928. Кн. 6. с. 249–250.

<sup>7</sup> Никитин А. Г. Ветры предвестий. // Каменский В. Степан Разин. Пушкин и Дантес. М., 1991. С. 15.

<sup>8</sup> Никитин А. Г. Комментарии. // Там же. С. 635.

<sup>9</sup> Маяковский В. ПСС. Т. 13. С. 56.

<sup>10</sup> Маяковский В. ПСС. Т. 12. С. 48.

<sup>11</sup> Маяковский В. ПСС. Т. 12. С. 354–355.

## Сколько стоит «Каменный цветок»

Антон Касимов, Дмитрий Мелких. *Малахитовые гитары*. — М.; Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2016

Почему авторы выбрали для этого вполне серьёзного, почти что документального исследования двадцати пяти лет истории уральской рок-музыки такое непримечательное название? Но если вспомнить, что малахит на Урале сейчас не добывается и запасы «зелёного цветка», хрупкого, нежного, мягкого, теряющего часть своей неопишуемой красоты даже от оседающей на него пыли, истощены полностью, кое-что становится вполне понятным. К тому же просматривается авторский намёк на вполне определённую местность и ментальность, в которой выросли Александр Башлачёв, «Наутилус», «Агата», «Чайф». А потом что-то разладилось или не сложилось? Или просто — настали другие времена? Пришли другие люди?

Книга представляет вниманию читателя далеко не все уральские коллективы. Зато успехи и неудачи, настоящие и мнимые находки, победы и поражения каждой рок-группы, из тех, что помещены в книгу, — от знаменитых до «не сложившихся» — разобраны детально и тщательно. От возникновения и до распада, ухода со

сцены или, в некоторых случаях, продолжения вполне продуктивной работы. Вне зависимости от уровня популярности, кстати.

При внимательном чтении «Малахитовые гитары» оказываются совсем не художественной «повестью о хранителях колец», она будет поинтересней иного увлекательного детектива. Антон Касимов и Дмитрий Мелких равномерно собрали все «типичные» истории творческих коллективов наших дней. Здесь популярные сегодня «Курара», «Сансара», «Обе две» и значимые некогда «Собаки Качалова», Vanga Jazz и даже знаменитые на всю страну «Смысловые Галлюцинации», «Чичерина». Присутствуют и известные в узких интеллектуальных кругах «4 позиции Бруно», «Городок Чекистов». И, наконец, группы, которых больше нет, — «Девочка, ничего не бойся», «LLAC», «Невидимки, смотрящие на ботинки». Кстати, две последние — «дочки» авторов, так что книга написана людьми, знающими уральский рок далеко не понаслышке.

В результате получился неполный, конечно, но край-

не интересный эмоционально-интеллектуальный «срез» жизни уральского рока, и не только. «Гитары» иногда резковаты, а местами превращаются в снисходительный диалог-полемику рафинированного интеллектуала, эксперта в области мировой рок-музыки с «восторженным энтузиастом», фанатом своего дела, старающимся отстоять свои взгляды и друзей от критики слишком уж «крупного калибра».

Впрочем, всё это занимательное действие — не более чем остроумный приём, маски, за которыми скрываются равнодушные к теме, опытные и умелые исследователи. Малых и Касимов мастерски разбирают «на запчасти» стержневую проблему своего проекта: так что же всё-таки необходимо, чтобы «у Данилы-мастера» получился настоящий «Каменный цветок»? И почему выходит не у всех? Эффектный приём разделения на «злого» и «доброего» следователей, на фана и сноба в данном случае полностью оправдан и отлично работает.

Также необычна и интересна ещё одна авторская находка — представить до-



кументальный исторический материал в виде диалога, «оживить» его посредством современного эпистолярного жанра, «сетевой переписки». Даже смелость некоторых высказываний умело подделана под безоглядную свободу выражения собственного мнения в Рунете. Такие точки зрения и умозаключения вполне имеют вес и основания. Если они выстраданы, прожиты, продуманы до мелочей, вот как в данном случае, например.

Если поинтересоваться личным мнением самих героев «Малахитовых гитар», то Слава Солдатов, лидер группы «Городок Чекистов» скажет: «Не наврала». Юрий

Облеухов, гитарист «Курары» дополнит своими словами: «...У нас не было яркого старта. Мы не рванули сразу в небо, мы добивались своих высот постепенно, как трудяги на заводе...» А Саша Гагарин, основатель и солист группы «Сансара», просто напишет замечательную песню «К осени» и посвятит её именно этой книге:

*«Никому не говори,  
Что мы стали старше.  
Давай слушать Бауи.  
И жить дальше».*

Детские же обиды, отсутствие должного внимания к «Гитарам» со стороны некоторых «звёзд», переживающих сейчас глубочайший кризис, — просто не в счёт. По ходу повествования-диалога выясняется довольно тривиальная вещь: в рок-музыке, перефразируя кое-кого весьма известного в кругах широких, тоже нет «царских путей». Так или иначе — имеет место быть одна на всех «творческих» бриллиантовая дорога имени «Наутилуса Помпилиуса» и

Ильи Кормильцева. И не все выдерживают, не все идут до конца. Это не рок-музыка такая, «это жизнь такая». В приснопамятные времена в славном городе Екатеринбурге была такая панк-группа, которая называлась «Нет и не будет»... Кое-кто даже шутил по этому поводу: нет, мол, и не надо... Нет. Надо. И есть. И будет. Новое «поколение дворников и сторожей»? Вполне возможно.

Хотелось бы, чтобы книга «Малахитовые гитары» нашла себе побольше читателей. Здесь не только про музыкантов и собственно феномен рок-музыки.

Напоследок, возвращаясь к непростому всё же названию книги Антона Касимова и Дмитрия Мелких, следует отметить: некоторые геологи всерьёз полагают, что запасы малахита в уральских горах вовсе не закончились. До коренных месторождений не добрался пока что никто. И основания для такого умеренного оптимизма определённо есть.

*Григорий Тарасов*

## Человек в родной сорочке и с манерами ополченца

*Владислав Дрожжанин. Терем дальний и высокий. — Пермь: «Пермский писатель», 2016*

Не будем мелочиться. Перед нами целый том избранного, собрание девяти циклов стихов и четырех поэм. Поэт —

обладатель интуиции, прорицатель, Шерлок Холмс слова и потому опасный человек. Поэтому так плохо живут по-

эты в системах, где есть что скрывать. А так как открытых систем в нашем текущем положении нет, то сделать



вывод нетрудно. Поэт — та часть человека, от которой невозможно что-либо утаить. Произведения через него проговаривают всё. Подводные течения, закрытые помещения, истории, выброшенные на свалку, предстают в них как на ладони. Поэт может даже не хотеть так проговариваться, «выбалтывать» правду, но он невольник выбравшего его занятия. Поэтому трудна и опасна дорога того, кто рождается поэтом. А тот, кто просто примерил наряд, приглянувшийся ему, сбросит его при первых же трудностях или всю жизнь будет таскать на себе, вынуждая притворяться. Из стихотворной лаборатории, из алхимии образа разворачиваются синтетические искусства, оживает киноплёнка, происходят научные открытия.

Так что не будем мелочиться. Поэта будут отвлекать женщинами, наградами, алкоголем, притягательностью суицида, дохлым раем тихих мест, междусобойчиками, будут обнулять его темы, замалчивать его высказывания, желать ему развоплощения,

сдачи хтоническому ужасу — а может, отступится? Но если он не поведется, то отступятся от него. А если поведется, то будет описывать рифмами и со вкусом все отвлекающие маневры.

Вначале кровь Каменского вольется в жилы, как в стихотворении, датированном 1976 годом:

*«Я последний поэт  
Вселенной:  
во мне бешеная истома:  
я вбираю в себя селенья —  
заклеймят сумасшедшим  
домом!..»*

*Перед вами я хохмой плоть  
убил —  
Чем же плакаться, голося?  
Отпусти, золотая  
оттепель,  
Заморозь на чуток глаза.*

*«Убийство плоти»  
произошло. На обострении,  
на конфликте  
ослепительно выживают —  
где подснежники, где  
подснежники?*

Ослепительно выживать вознамерился поэт. Печататься в то время с такой стилистикой («Лоснятся аллеи, деревья — и дыбом / Вселенная сверху серебряным взрывом. / Распад миражей; но ты слышишь — ты жив? — / в ночи вечевой колокольный призыв») можно было только в самиздате. Так что не разрешение «сверху», а самопровозглашение становится причиной рождения поэтической жизни. Прервал

«внешнюю и внутреннюю эмиграцию» призыв Андрея Вознесенского в 1991 году, и поэт вышел на открытую дорогу: в 1992-м выходят сразу две книги его стихов — «Блупон» и «Небавоскресенье».

Слышать колокольные призывы в глухом 1976-м обыкновенному человеку было довольно затруднительно. В 91-м их наконец слышали или сделали вид, что слышали, многие. А что же поэт? Обманчивый «Календарь» 2004–2014 начинается с «Неисчислимости»:

*«Мнились мои печали,  
мчались неисчислимо (...)*

*если воспеть зевоту  
ангела после поимки,  
можно услышать «Кто  
там?» —  
с той стороны пластинки;*

*звука целую складки  
и на своей постели  
сонные отпечатки  
ангела из колыбели (...)*

*Где вы, в каком начале,  
По-птичьи неисчислимо,  
Мчались, мои печали,  
Неустрасимо мимо?»*

Вот так, перескочив «Устричные строфы», которые вдохновляли бардов и знакомили нарождающиеся поколения с лимериками, продолжая «Русскую летаргию» и «Твердь», «я понял ангельский язык (...)». Владислав Дрожжих продолжает образовывать и преобразовывать внутреннюю тему. Но какова она, эта тема?

Девяностые — время языкового сарказма: «проходят иностранные валиды, / напоминая рехнутые виды / из фотокамеры — на г. Вальядолид, / Лазурный берег и прибрежный СПИД» («Год»). На усиление эффекта высказывания работают многие приемы: и лишение слова приставки, замыливающей глаз и слух на предмет смысла, и сокращение «г.» вместо «город», и контраст «картинки» желанного для невыездного советского гражданина на берега с тем, что его там вполне ожидает.

«За прошлый месяц удались  
надои северной

*Атланты*, —

время, когда газетный новояз уже сам себя спародировал.

«Здравствуйте, дорогие.  
Пожалуйте в наш кандей!»

Кандей — это карцер, штрафной изолятор — то ли географическое, то ли временное понятие из стихотворения 1991 года «Шухер на переезде», а на соседней странице стихотворение, начинающееся так: «палачей играют палачи, палачей ругают палачи». Тема сталинских репрессий была поэтом осмыслена в более раннем стихотворении «Коба в детстве», а впереди — «Вторниковские княземешалки», «Конвой», «Павловск».

Павловск хоть и местный, пермский, но со своими непременными атрибутами —

снежинками и ресницами, отлетающими то тут, то там по всей книге, как будто у глаза постоянно меняется оболочка, угол зрения, слезает змеиная кожа, регулярно нарастающая. Этот Павловск отсылает к Павловску, который построен императором Павлом — месту, где произошло одно из самых громких убийств в российской истории. Как следует из «княземешалок», процесс этот вневременной и внесловный, захватывающий и воронов, и ратников.

Фиксатор и локатор пространства оглядывается вокруг в 1997-м и видит, как

«Прометей прикован  
к портвейну,  
в заморозке Эсхил-  
пэтэушник,  
воробьиные гипертени  
разгоняет психушник  
топором, расщепляя запах  
злой росы под луной высокой  
в центре плахи и в центре  
паха,  
в центре Запада и Востока».

Что происходит на этой Земле, которая выглядит для наблюдателя как плаха, ярко освещенная светом Луны? Что происходит с той Землей, которая по наследству нам не досталась, «пока мы молчим при свете пылехранилищ лунных, Земля заплывает в сети...» — вроде бы неизбежное — но они «порванные, как струны».

Время дремлет, глядит  
раскосо,  
Осыпая труху с рейхстага,

Прикасясь красноволосо  
К обожженной груди еврея  
(эскимоса своей обиды)  
в зной, где водятся  
пирамиды...

А «каждый озябший путник,  
Лишая себя движенья,  
Восхваляя земные пути,  
Становится лучшей тенью

Человека, чей путь  
в расщорчку,  
С бесом — в нагой пустыне,  
С херувимом — в ночной  
сорочке,  
С Одиссеем — на субмарине,  
Пройден второй  
тюрьмою...»

«Не сгустил я деготь  
ночи в кровавом веке обреченных» — переползает со строчки на строчку разговор от первого лица.

Рефреном через избранное идут строки про одиночество — «никому еще не бывало и в могиле так одиноко», «под копирку душа скулила: — Не бывало так одиноко!» Одиночество, неизбежное посреди раскочивающихся строчек, описывающих завладевший и землей, и живущими на ней хаос, переставало быть всепоглощающим, когда «тлело смутное покрывало», когда звезда, кажущаяся далекой, «улыбалась мне небывало».

«Солнце забито по глотку камнями» — Луна освещает место казни, Земля представляется плахой — звезда улыбается из неизвестного далёка, которое в другом стихотворении приобретает форму Терема, давшего на-

звание всей книги избранного. Впервые Терем появляется в книге стихов «Твердь» (1995–1998): «Он мнил себе: высокий терем / в далёкой бездне любит нас», приравненный к храму, в который войдет тот, «кто сеет, как подобает божеству, терпенье и любовь к терпенью». Терем — то, что за «курвица-ми-звездами», за «ясным месяцем, кровичей свищущим», за Солнцем, ходящим по кругу — за всеми «приманками», которые вносят сумятицу. А в книге «Календарь» (2004–2014) уже не «Он», а «Я» говорит, обращаясь к Те-

рему: «Ты не думай обо мне». А кто остаётся с этим «я»?

*«Ангел бездны,  
прародитель,  
Настигатель, восходитель,  
Ангел бездны травяной,  
Ты побудь, побудь со мной».*

Так разрешается отношение к далекой перспективе, глядя на которую, поэт обнаруживал и «твердь» сверху, куда надо смотреть, подняв лицо, и расположенное в его топографии на Урале «рифейское лежбище пирамид». Если нет перспективы, то и опора под ногами оказыва-

ется призрачной, а не прозрачной, и строения выходят никуда не устремленными.

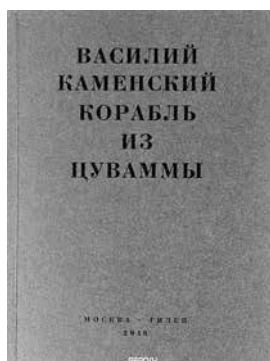
Что же за картина открывается после этого отказа? «Перекресток», «Южный крест», «Зачем», «По вагонам», «Воркута», «Яма» — это названия новых станций, остановок, которые все-таки возникают в «Календаре» после обнуления — как будто раскрученный конец света в календаре мая произошёл и в поэтическом воображении, и за ним началась новая эпоха.

*Ольга Роленгоф*

## Баралайза Мама Футуризма

*Василий Каменский. Корабль из Цуваммы: Неизвестные стихотворения и поэмы. 1920–1924. — М.: Гилея, 2016*

*Василий Каменский: Поэт. Авиатор. Циркач. Гений Футуризма. Неопубликованные тексты. Факсимиле. Комментарии и исследования. — СПб: Издательство Европейского университета, 2017*



К Василию Васильевичу Каменскому в Перми отношение особое. Это местная достопримечательность, один из брендов, который не стыд-

но предъявлять на широкой публике. И, в отличие от прочих подобных персонажей (Дягилев, Пастернак, Родченко, проч.), с Пермью связан

прочно, декларативно — и в разные периоды своей бурной жизни. Потому собираются на юбилейные чтения к дому в Каменке нынешние пожилые поэты-славянофилы, водружают загадочные приборы-поэтофоны в «местах силы» авангардисты средних лет, модные молодёжные стрит-артисты рисуют портрет поэта во всю стену многоэтажного дома.

Всем Каменский чем-то близок, многие считают его «своим». Даже противники футуризма любят его за языческие песнопения да акцен-

тированную русскость-на-родность. А уж про местных ревнителей приоритетов и говорить нечего — надо же! Свой! Родной! Пермский! Авангардист!

Дружба с великими поэтами-художниками-режиссёрами рассматривается как знак духовной да творческой близости, особого доверия тамошних гениев к нашёнскому. И вот конец 2016-го — самое начало 2017-го, этот недолгий период принёс сразу три книжных события, связанных с интересующим нас (и не только нас) именем. Все трактуют его по-своему, в разных системах координат. Все из разных городов: Москва, Пермь, Петроград.

Прикамские краеведы-энтузиасты во главе с Иваном Ёжиковым провели несколько мероприятий (вечеров, презентаций, чтений), где озвучили свой проект: выпустить из печати, переиздать спустя сто лет автобиографическую книжку Каменского «Его-Моя биография Великого Футуриста». Виртуальная книга уже готова, создан комитет по сбору средств на бумажный вариант, запущен краудфандинг в Сети. Почти неизбежного налёта доморощенности да убогости, присущего большинству начинаний совпосов (функционеров бывшего Союза советских писателей да их идейных наследников), тут не заметно. Издание оформлено однотипно с уже выпущенными, будет третьим после «Путь энтузиаста» и «Жизнь с Маяковским». Это

не репринты старых выпусков, а обновлённые версии, снабжённые предисловиями, послесловиями, афишами, рисунками, фотографиями. В меру. Главным недостатком старательно создаваемой серии, на мой взгляд, является её излишняя унифицированность. Лежащие рядом разные книжки из-за оформления кажутся экземплярами одной. А поставленные на полку — вообще не различаются по причине полной идентичности надписей на корешках. Когда я говорил об этом инициаторам, они удивлялись, так как не придавали негативного значения такой похожести, не замечали минусов. В их проекте Василь Василич из Каменки под Пермью показан как удалой добрый молодец-провинциал, которому легко покоряется столица.

Иной образ создаёт московская книжка «Корабль из Цуваммы: неизвестные стихотворения и поэмы. 1920–1924», подготовленная дотошным комментатором С. Казаковой. Очередной выпуск авангардно-маргинального издательства «Гилея» в серии Real Nylaea, где компанию пермяку составляют немецкие дадаисты, кавказские заумники, французские сюрреалисты, румынские леттрисы. Серия обязывает. У нашего героя акцентированы буйное словотворчество, звучные неологизмы, заумные диалоги, железобетонные поэмы, утопический пафос, опьянение ритмом, электрификация слова. Три

известных по публикациям стихотворения даются в более ранней (возможно), менее понятной (явно) редакции.

Цувамма возникает трижды как место действия разных текстов, два из которых впервые печатаются в данном томе. Это утопическая «страна солнцетканых поэтов», «остров рубинных расцветов», «страна Океанской Раздоли», которая легко вписывается в устойчивую традицию: Вообразия Б. Заходера, Неверленд Д. Барри, Поэтоград Н. Глазкова, т. п. У самого Каменского немало подобных географических открытий: Апельсиния, Гдетотамия, Грустиния, Дальняя, Кудатотамия, Незнамия, Нетамия, Пальмия и прочая. Некоторые считают, что тут он перещеголял даже такого фантазёра, как барон Мюнхаузен. Но поскреби футуриста — найдёшь натуралиста. А то и символиста самого дешёвого пошиба. Стоит осыпаться пёстрым перьям заумных словечек (которые на проверку оказываются лишь звуковой имитацией чаще всего восточной речи), как:

*«Принимаем ванны,  
Работаем, кушаем вкусно  
У нашей Марины Ивановны».*

Или:

*«Сиянием простой улыбки  
Она ответит.  
Волнуясь втайне:  
Как будто ни одной ошибки  
Никогда на свете  
Не сделал я в скитаниях».*

И даже такие двусмысленные откровения в устах прикамского мачо:

*«Все мы, как женщины,  
Ищем  
Здорового-сильного мужа».*

*«Сияй, наша звонкая  
лестница!  
Голубейся в любви.  
У нас нет берегов».*

Цитаты приводятся из разных текстов этой реально-гилейской подборки. Об уровне поэзии судите сами. Самое яркое, что остаётся после прочтения, — мелькающие хвостиками баралайзы среди Океании.

Книга «Василий Каменский: Поэт. Авиатор. Циркач. Гений футуризма. Неопубликованные тексты. Факсимиле. Комментарии и исследования» представляет нам ещё одного Каменского. Точнее, сразу нескольких (в разных ипостасях). Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге данным томом пополнило свою серию «Авант-гард», где факсимильно републикуются книжные раритеты авангарда начала XX века с подробнейшими комментариями да иллюстрациями: В. Маяковский, Б. Пастернак, И. Терентьев, В. Хлебников и прочие в том же направлении.

На первый взгляд, том Каменского просто логично продолжает обозначенный ряд, ибо легко вписывается в компанию. Два типографских раритета прилагаются.

Но при детальном осмотре выявляется принципиальное отличие — в широте охвата.

Перед нами отнюдь не книжка про поэта (хотя бы даже и очень разностороннего). Забраккованный режиссёром Мейерхольдом в качестве актёра Васильковского на сцене, наш герой срочно дружится с другим тогдашним режиссёром-новатором — Николаем Евреиновым, проповедником теории театра для себя, «театра жизни». С тех пор появляется знаменитый «Актёр Жизни Вася Каменский».

«Вошедшие в книгу исследования впервые показывают Каменского во всем размахе его жизнетворческого темперамента: Каменский как пионер авиации, как первооткрыватель новых форм в поэзии, как циркач, как (само)рекламист, как дизайнер и типограф, как мастер перформанса, как поэт-орденоносец. В издание включено более 300 иллюстраций; впервые собраны три десятка листовок и афиш Каменского, в том числе наполненные взрывной типографикой. Впервые публикуется масштабная иконография поэта — более 40 его портретов», — говорится в издательской аннотации.

Под чутким руководством куратора А. Россомахина коллектив знающих своё дело энтузиастов показывает нам истинного Каменского: во всё воплощённое ничто. У обаятельного жизнелюба Васи, который был всеоб-

щим другом, которого любили люди всех темпераментов (пристрастий и возрастов), судя по всему, был только один талант — витальность. Любовь к жизни во всех её проявлениях приводила его в друзья к самым разным людям, обществам, кругам, слоям (далее — по необходимости). Его реально ничего не разделяло ни с пережившими своё морализаторами-передвижниками, ни с цинично-грубыми актёрами-провинциалами, ни с передовыми парижскими Дада, ни с истошными рассейскими «скифами». Он был своим в любой компании (куда, естественно, пускали). Он подходил, подлаживался, подстраивался. Был то «эстетнее» самого Северянина, то «зумнее» Кручёных (в стихах), то «лиричнее» Е. Бём (это не ругательство, а художница такая!), то «передовее» Маринетти (в рисовании), то «историчнее» Ромашкова (режиссёр «Понизовой вольницы»), то «индустриальнее» Эйзенштейна (в кино). И так далее. Его ничего не разъединяло ни с кем. И ни с чем. Но ничего и не объединяло (на самом деле). Всюду он оставался Васей. И когда экстазно призывал в как бы авангардной книжке компании тифлисских задир:

*«Золотозсыпью —  
Мировенчалностью —  
Наполняя сердца  
утрозарным вином,  
Горите звучально  
Венчально  
встречальностью»*



*Гимн распевая  
О царстве Ином», —*

от таких душистых букетов не отказался бы и Бальмонт. И когда выдавал монолог Нового Человека в аэроплане:

*«Ты, сердце, бейся,  
Душа, молись...  
Летите, крылья,  
Несите, крылья,  
В святую высь».*

Вполне себе надсонообразное третичное декадентство застойной эпохи. В том же духе (а то и под Ахматову):

*Я прилечу бирюзовым  
Венчанием.  
Ветром в долину любви.*

Порой как зарычит сей будетлянин разудало-лихо с эстрады:

*«Девушки босиком —  
Деревенские за водой  
с расписными  
Вёдрами-коромыслами  
На берегу Волги  
(А мимо идёт пароход)».*

Не очень понятно, почему при том эпатировался уже достаточно искушённый зритель в 1917 (!) году данной нафталиновой неритмованной-нерифмованной некрасовщиной. Хотя больше подходило к тому бряканье Васи на гармошке в частушечной манере. Для понимания нелепости претензий автора на авангардизм достаточно сравнить, например, действительно новаторские вещи его друзей («Уструг Разина» Велимира Хлебникова, «Пугачёв» Сергея Есенина и т. п.) с многочисленными каменскими поделками во всех возможных жанрах на разинско-болотниковско-пугачёвские темы, где вся новизна сводится к пыхтению с посвистом да грозно сдвинутыми набекрень бровями: «УХ! ЭХ! ЭГЕ-ГЕЙ!» При том присутствующий друг-йог, он же футурист жизни Владимир Гольцшмидт, не мудрствуя лукаво, ломал о голову доски. Что, на мой взгляд, намного выразительней. Конечно, можно объявить Васю и ве-

ликим Пророком Явления Чупа-Чупса, например. Исходя из таких поразительных провидческих строк:

*«Ука  
Унс  
Чука  
Чупс».*

Тем не менее описанные нами книжки читать и рассматривать весьма интересно. Особенно собранные и проанализированные питерским коллективом афиши, листовки, мемуары, которые дают представление о масштабе великого саморекламиста («Его-Моя»). О степени его погруженности в ту жизнь, которую он, самозванная Мама (!) Футуризма (в пару к Папе Бурлюку), так любил. О людях, идеях, событиях вокруг. И это самое интересное в книжке про неинтересного человека и автора. Аромат эпохи, динамика футуристического движения, артефакты и просто факты. Можно начинать погружение.

*Сергей Сигерсон*

## Волшебство неевклидовой геометрии

*Андрей Санников. Зырянские стихотворения. — М., Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2016*

Книга Андрея Санникова «Зырянские стихотворения» — волшебство. Его стихи — всегда волшебство. Андрей Санников — значимый современный поэт, ро-

дом из Березников, кстати, один из двух уральских поэтов, включенных в учебник «Поэзия» Кузьмина, Корчагина и Азаровой, — удивительный человек. Успевший

поработать в самых неожиданных местах — от археолога до реставратора и от директора краеведческого музея до директора церковно-приходской школы, а по-



Самое важное в стихах Андрея Санникова — кристальная честность. Неназываемая реальность его — настоящая, без единого фальшивого слова. И страшно именно от того, что ты в нее поверил.

*В августе незрячем*

*и невзрачном  
на бомбардировщике  
прозрачном*

*двойники и даже тройники  
отвезут меня в Березники.  
Приземлимся при дожде  
и громе  
на заброшенном аэродроме  
в полвторого ночи и пойдём  
к яме, где когда-то был  
мой дом.*

Книга «Зырянские стихи» — не только про поэзию, она дополнена музы-

кальным диском. Это сюита молодого музыканта Алексея Русских. Таким образом музыка становится попыткой создать для вселенной Андрея Санникова еще одно измерение. Удачная попытка или нет — читатель-слушатель должен решить сам.

*Нина Александрова*

## Бит поколения ЯЯЯ

Артем Быков. *Краткий курс крови.* — Екатеринбург: «Полифем», 2016

Книга Артема Быкова «Краткий курс крови» на первый взгляд кажется неким искусственным, «маскировочным» поэтическим высказыванием, выстроенным автором с одной целью — не проговориться о главном. Разнообразные языковые приемы в текстах Быкова — декорации, за которыми поэт скрывает важную для него, но вместе с тем простую мысль: что-то вроде «Я боюсь умереть» или «Я боюсь жить».

Возможно, отказ автора от открытого и прямого высказывания обусловлен страхом показаться банальным: самые важные и значительные вещи по сути своей просты, очевидны, но говорить о них, избегая декламации «простых истин», весьма непросто.

Таким образом, формируется образ лирического героя: в текстах Быкова лирический субъект принадлежит к новой генерации,

так называемому поколению ЯЯЯ, представителем которого традиционно высказывается претензия в их инертности, отсутствии четко обозначенных интересов, амбиций, гражданской позиции, пассивности. Герою Быкова не из-за чего бунтовать, по крайней мере, он не видит к тому причин, так же, как и не видит он необходимости в поиске героя, кумира или жизненного ориентира, для него важны только сиюминутный результат и время, ограниченное категорией настоящего.

Иногда в тексты прорываются личные переживания, как на странице 25, где «боль заставляет кудахтать (только) поэтов и куриц», однако более, чем на одну строку, автор не желает раскрываться и вновь прячется за сложными и стилистически яркими языковыми конструкциями:

*Боль заставляет  
кудахтать (только)  
поэтов и куриц  
Фридрих снимает усы  
на перекатанных улицах  
Для поворотов разумного  
чтива  
Рты поливаешь ли,  
засыпаешь? Красиво.*

Или:

*От гематомы матерей  
Свернув на тысяче смертей  
Я бессознательность свою  
Не доживу.*

*Из черной извести, коснусь  
— до лёгочных зевот  
прожжёт  
(обрящешь среди мёртвых  
вод)*

*Очеловечно задохнусь  
Такую тяжесть не поднять  
Бог может знать.*

Идея отсутствия идеи, концепция отсутствия концепции, познание мира посредством



внезапно и хаотично возникающих образов «здесь и сейчас», дискретность восприятия — приметы той современности, которую отражают тексты Артема Быкова.

В книге нет единого нарратива, идеи, объединяющей собой все стихи от первого до последнего, в единое целое книгу выстраивает не

содержание, а форма, музыкальность текстов, но не мелодия, а ритм, бит: тексты композиционно подобраны так, что создают ритмический речитатив. Заданный темп захватывает читателя, завораживает его, не отпуская до конца книги.

Не только ритм, но и характерное для рэп-поэзии содержание текстов Быкова позволяет сравнивать их с этой субкультурой. Поэтический мир Быкова полон примет грубой окружающей действительности: городские окраины, алкоголь, сигареты, секс, привлекательные и не очень части тела, мысли о боге, недостижимости счастья, невозможности разделенной любви. При этом в стихах Быкова нет

четко выраженной морали и ценностных ориентиров.

Информационный шум, неправильность устной речи, бессознательное автоматическое письмо в данном случае кажутся инструментарием не маскировки чего-либо, а, скорее, забалтыванием автора самого себя от попытки выдать свое главное, личное, тревожащее и мучающее. И все это происходит в декорациях художественно-бытовой нарочитой добровольной маргинальности, добровольной в том смысле, что героя его маргинальность не тяготит, не в этом дело — это только текст, а дело в том, что «я не назову тебя, не назову тебя, не назову».

*Елена Баянгулова*

**Кирилл Азерный** родился в 1990 году. Учится в магистратуре филологического факультета Уральского федерального университета на специальности «Литература зарубежных стран». Публиковался в журналах «Урал», «Вещь», «Новый мир», «Гвидеон», альманахе «Золотой Пегас», антологии «Екатеринбург 20:30». Автор двух книг прозы — «Подарок» (2013) и «Человек конца света» (2015). Живет в Екатеринбурге.

**Владимир Бекметьев** родился в 1991 году. Учится на философско-социологическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета. Принимал участие в поэтических фестивалях «Биармия» (Пермь, 2013), «Белый воробей» (Каменск-Уральский, 2016), «Компрос» (Пермь, 2017). Публиковался в журналах «Вещь» и «Русский Гулливер». Стихи вошли в лонг-лист поэтической премии имени Евгения Туренко (2016). В екатеринбургском издательстве «Полифем» готовится к изданию дебютная книга стихов.

**Александр Верников** родился в 1962 году. Прозаик, поэт, переводчик. Окончил факультет иностранных языков Свердловского пединститута. Начиная с конца 80-х публиковал прозу, стихи и переводы в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» и др. Автор трех книг прозы и трех книг стихов. Живет в Екатеринбурге.

**Нина Горланова** родилась в 1947 году в деревне Верх-Юг Чернушинского района Пермской области. Окончила филологический факультет Пермского университета (1970). Печатается как прозаик с 1980 года. Многочисленные публикации в толстых журналах. Автор книг прозы: «Радуга каждый день» (1987), «Родные люди» (1990), «Вся Пермь» (1997), «Любовь в резиновых перчатках» (1999), «Дом со всеми неудобствами» (2000). Произведения переводились на английский, испанский, немецкий, польский, французский языки. Первая премия Международного конкурса женской прозы (1992), специальная премия американских университетов (1992), премии журналов «Урал» (1981), «Октябрь» (1992), «Новый мир» (1995), Пермской области (1996). Живет в Перми.

**Константин Комаров** родился в 1988 году. Поэт, литературный критик, литературовед. Выпускник филологического факультета Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина. Кандидат филологических наук. Автор литературно-критических статей в журналах «Новый мир», «Урал», «Вопросы литературы», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат премии журнала «Урал» за литературную критику (2010). Финалист премии «Дебют» в номинации «эссеистика» (2013, 2014). Стихи публиковались в журналах «Звезда», «Урал», «Гвидеон», «Нева», «Новая Юность», «Волга», «Бельские просторы», «День и ночь», в антологии «Современная уральская поэзия» и др. Автор нескольких книг стихов. Участник и лауреат нескольких поэтических фестивалей. Живёт и работает в Екатеринбурге.

**Владимир Кочнев** родился в 1983 году в городе Чайковском Пермского края. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Лауреат премии «Дебют» в номинации «Поэзия» (2007), участник форумов молодых писателей в Липках и международного фестиваля верлибра (2007). Публиковался в альманахах и журналах «Арион», «Урал», «Сибирские огни», «Топос», «Вещь» и др. Автор книги стихов «Маленькие волки» (2013). Живет в Перми.

**Евгений Лобков** родился в 1960 году. Историк, литературовед. Публиковался в журналах «Зеркало», «Окна», «Вопросы литературы», «Вещь». Живет в Челябинске.

**Алексей Лукьянов** родился в 1976 году в п. Тохтуево Соликамского района Пермской области, учился на филолога в Соликамском пединституте, после армии сменил несколько профессий, в том числе работал кузнецом. Публиковался в журналах «Уральская новь», «Октябрь», «Вещь». Лауреат Новой Пушкинской премии (2006). Автор книг «Спаситель Петрограда» (2008) и «Глубокое бурение» (2010). Живет в Соликамске.

**Екатерина Садур** родилась в Новосибирске. Прозаик, драматург. Училась в Литературном институте им. А. М. Горького. Лауреат литературных премий журнала «Знамя» за лучший роман «Из тени в свет перелетая» (1994), «Малый Триумф» за роман «Праздник старух на море» (1998) и «Малой пушкинской премии» (2002). Публиковалась в журналах «Дружба народов», Vogue, Ореп и др. Стипендиат фонда Альфреда Тёпфера (2002), Литературного коллоквиума Берлина (2003), фонда «Открытый мир» университетов Айовы и Нью-Йорка (2004), фонда Альфред Дёблин (2013). Автор нескольких романов, рассказов и пьес, среди которых «Праздник старух на море» (1998), «Шепоты ангелов» (1999), «Воздух» (2004), «Переписка с Милорадом Павичем» (2008). Живет в Берлине.

**Александр Самойлов** родился в 1973 году в Челябинске. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького (2003). Публиковался в газете «Уральская новь», поэтическом сборнике «Среда» (Челябинск, 1996), журналах «Урал» и «Знамя». Участник первого и третьего тома «Антологии современной уральской поэзии». Автор трех книг стихов: «Киргородок» (2011), «ГУЛ» (2014), «Маршрут 91» (2015). Живёт в Челябинске.

**Поддержка проекта была осуществлена  
министерством культуры Пермского края**

Вещь: Литературный журнал. — Пермь: Издательство «Сенатор», 2017. — 126 стр.

Редактор:  
Павел Чечёткин

Выпускающий редактор:  
Юрий Куроптев

Дизайн обложки:  
Иван Моисеенко

Вёрстка, дизайн:  
Евгения Тесленко

Корректор:  
Николай Шилов

Рукописи для публикации принимаются по электронному адресу:  
e-mail: senator.perm@gmail.com

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Вещь» обязательна.

Адрес редакции:  
614000, г. Пермь, ул. Луначарского, 21  
Тел. (342) 212-32-17  
e-mail: senator.perm@gmail.com

- © «Вещь», 2017
- © Авторы, 2017
- © Издательство «Сенатор», 2017





